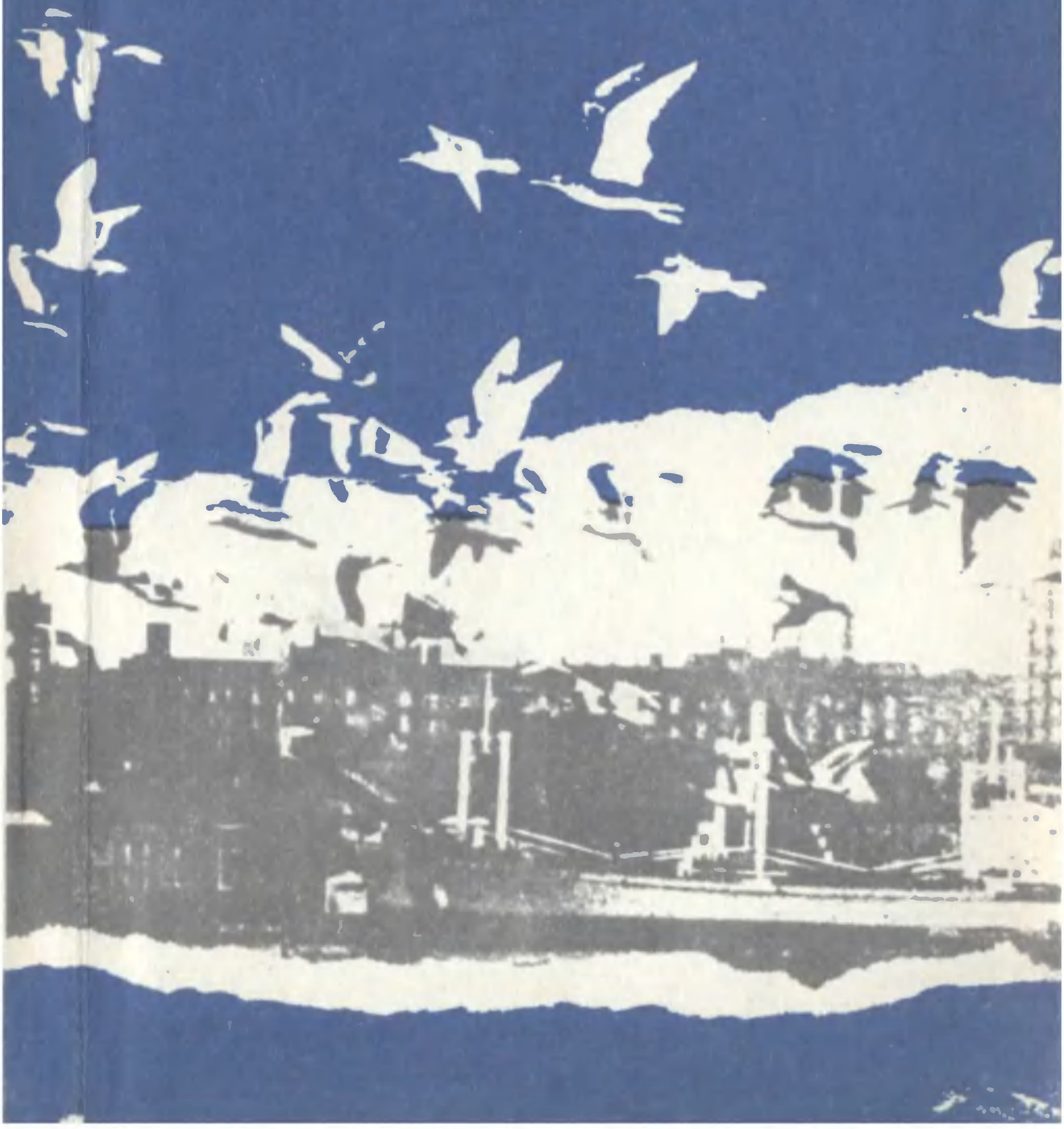
Владимир Шлюшин

ТИХООКЕАНСКОЕ ШОССЕ



СОДЕРЖАНИЕ

На берегу
5

Абзац
13

Буханка
21

Человек, который любил Кафку
58

Свистопляс
74

На собрании
95

Тихоокеанское шоссе
101

Конфуз
111

Путина
123

Владимир Шлюшин

ТИХООКЕАНСКОЕ ШОССЕ

РАССКАЗЫ И ПОВЕСТЬ

Хабаровское
книжное издательство
Амурское отделение
Благовещенск
1987

Рецензенты

Евгений СИДОРОВ, Николай ФОТЬЕВ

Художник *Валерий ЛОКШИН*

И $\frac{4702010200\text{-}16}{М160(03)\text{-}87}$ 87

© Хабаровское книжное издательство, 1987

На берегу

Сивучи ныряли у самого берега, в прибое. Иногда волна поднимала кого-нибудь из них и тогда в зеленом, катящемся на берег гребне просвечивало темное, обтекаемое тело. Их усатые, лоснящиеся головы с пугливыми глазами поднимались то там, то здесь и мгновенно, без всплеска, исчезали.

Двое мужчин стояли на песке у самой реки и смотрели на океан. Тот, что пониже, был толст, лыс и, судя по тому, как мертво гнулся под ветром правый рукав телогрейки, однорук. Второй, повыше ростом, в измятой капитанке, стоял рядом, сунув руки в карманы брюк и зябко приподняв под свитером худые плечи.

— СРТушка болтается, — говорил лысый, — колхозное корыто...

— Что? — не понял тощий.

— С Сероглазки коробка, звонаревская.

— Как ты видишь?

— Они сапог на мачте возят, влетает им за это, а все равно, как из Авачи выйдут, — сапог на мачту. Чудят.

— Да, чудаки! — рассмеялся тощий. — Попробовал бы у нас кто... Тралят?

— Не пойму, тралят, нет ли... Отстаиваются, думаю. Тут за мысом затишек.

— Ладно, — сказал тощий, нетерпеливо переступив, — валяй дальше. Докладывай обстановку. Как на совете капитанов: что, где и почему.

Лысый коротко глянул на него, моргнул и почесал за ухом, раздумывая. Неуверенная детская улыбка тронула его губы.

Ахал прибой, разбиваясь о берег. Белые с желтым языки пены с шипением ползли по песку. Волна откатывалась, по-кошачьи изгибая спину, и тогда по всей береговой линии вдруг вспыхивала серебристая трепещущая полоска. Шел уек — маленькая рыбешка, нерестящаяся на прибрежных отмелях, вслед за уйком пришли и сивучи.

— Ну, ты, рожай, рожай! — крикнул тощий. — Что заело-то?

Лысый похлопал светлыми ресницами, сморщил лоб:

— Песок...

— Ну хорошо! — разозлился тощий. — Песок! Дальше что?

— Песок, — повторил лысый, — чего тут еще? Ну... вода.

Он смотрел туда, где в синей невесомой пустоте меж водой и небом маячила черная скорлупка сейнера с рожками мачт. Его светлые глаза, казалось, таяли, как тонкие льдинки, сочась слезой на пронзительном соленом ветру. Он видел, как катятся на берег белые, неровные полосы пены по гребням волн, как вспыхивает под солнцем, меняя цвет, вода. Видел контур гористого мыса, зверем упавшего в океан. Он не сумел рассказать об этом. Море радовало его. Что тут еще рассказывать?

— Уек прет, — сказал лысый, — и нерпей, как грязи. А так что? Песок да море.

— Вот голова-а! — саркастически протянул тощий.— Сто очков бочке с сельдями! Вот это тара. Вопрос — для чего? Это же океан, а не коммунальная ванна. Хоть капля воображения у тебя есть?

— Чего тут воображать? — зевнул лысый. — Пойдем лучше к костру, там хоть не так дует. А то простынешь, потом возись с тобой. Душа на одну нитку сшита.

Капитан выругался и, ухватившись за пустой рукав телогрейки лысого, нетерпеливо потянул. Они зашагали к песчаным холмам, над которыми курился дымок их костра. Ветер дул в спину, парусил брюки и обтягивал свитер на спине тощего.

— Свежо! — крикнул он. — И огурцами пахнет.

— Это уек, — буркнул лысый.

— Да? Помню, я у кого-то читал, что море пахнет яблоками. Это тоже от рыбы?

— Первый раз слышу, чтоб рыба пахла яблоками, брехня это, — сказал лысый. — Разве только гнилыми.

— Ну никакого воображения! — рассмеялся капитан, и, предлагая привычную игру, крикнул: — Порт назначения?!

— Анапка! — с готовностью поддержал лысый, переваливаясь на толстых коротких ножках и выдавливая меж обветренных губ улыбку. Казалось, выворачивается цементный шов между двумя кирпичами.

— Какая роскошь! — хмыкнул капитан. — Анапка! Нет, мы идем в Банкувер!

Лысый только крякнул.

— Груз... — кричал капитан, — шпунтовые доски!

— Доски были прошлый раз, — возразил лысый.

— Хорошо, тогда икра в банках и легковые автомашины.

— Лучше пиво в банках...

— Это несерьезно, мы не лавочники. Штурман, курс!

— По мне, так лучше селедка, — заворчал лысый.— Возни с этими машинами. Между прочим, попробуй-ка машиной закуси.

— Штурман, спишь! — заорал капитан. — Не слышу курс!

— 135, капитан, — послушно отрапортовал лысый.

— Ход?

— 20 узлов.

— Эй, в машинном, наддайте! Метео?

— Туман, сильный зюйд-вест, — сказал лысый и на всякий случай глянул на капитана испуганно округлившимися глазами. — Не слишком ли?

— Плохо. — Лицо капитана озабоченно вытянулось. Он знал, что так не бывает. Или туман или ветер. Но это не имело значения, на него ополчились все стихии разом. — Зажечь топовый! — крикнул он. — И носовой! Сигналить ракетами. Ледовая обстановка?

— Благоприятная.

— Полный вперед!

Они поднялись на холм. Внизу, у его подножья, горел в песчаной яме костер. Дым то поднимался столбом, то, отброшенный порывом ветра, стлался по песку.

Над костром, на вбитом в песок железном пруте, висел котелок. Рядом, на разостланной плащ-палатке, валялась обтрепанная хозяйственная сумка.

— Входим в порт, капитан, — доложил лысый.

— Машинное, самый малый! — крикнул капитан.— Лоцмана на бак. Много народа на причале?

— Полно! — восторженно сказал лысый. — Прямо не продохнуть. Ишь, суетятся-то как! Икры хотят.

Они входили в порт. Может быть, в ажурный лес кранов, где, разваливая волну, снуют буксиры, мечутся над замучённой водой чайки и чужая речь сыплется из мегафонов, как вопль потревоженной вороньей стаи. А может быть, это был всего лишь дощатый причал, выбеленные сараи разделочных цехов да с десяток при-

лепившихся к крутому склону сопки бараков. Они входили в порт своего прошлого, а прошлое у них было разным.

— Ну, слава тебе господи, приплыли! — довольно сказал лысый. — Дома наконец-то. Ох, и гульнем же, отведем душу!

— Тебе бы только гулять, — взъелся на него капитан. — Одно на уме. Тебе и руку, наверно, по пьянке отдавило. На берег не пойдешь!

— Это за что ж так? — обиделся лысый.

— Ты морально нестоек! — твердо сказал капитан. — Налакаешься виски и опозоришь всю страну. В трюм! До конца стоянки!

Он сердито тряхнул головой, шагнул, отпустив рукав, взмахнул рукой, собираясь что-то сказать, но вдруг запнулся, зацепившись ногой за ногу и покатился вниз.

С него слетела капитанка, он цеплялся за песок, пытаясь остановить падение, разбросав длинные, похожие на травяные дудки ноги.

Лысый от неожиданности разинул рот, хлопнул себя по бедру и залился беззвучным хохотом.

Капитан внизу сел, опершись руками, зашарил вокруг себя, тронул лицо и, повернув голову на шум прибоя, сердито крикнул:

— Что же ты ворон ловишь! Так и шею свернуть недолго!

Он встал и принялся отряхиваться, что-то ворча. Лысый на холме открыл было рот, чтобы крикнуть, но тут же прихлопнул его ладонью и, замерев, чтобы не выдать себя движением, с любопытством смотрел, как озирается капитан.

— Что молчишь? — насторожился тот. — Ты живой или нет? Где ты? — Он помолчал, вытянув шею и напряженно вслушиваясь в звуки берега, потом совсем тихо, неуверенно сказал: — Эй, где ты?..

На костер с резким, неприятным криком спикировала чайка. Капитан встал на колени и медленно пополз по песку, шаря перед собой руками, неуклюже, но упрямо, как краб. Он остался без корабля и без команды. В трюм сажать было некого. Ветер вздыбил ему волосы, сек пустые глазницы...

— Здесь! — крикнул лысый, вдруг испугавшись, и заспешил к нему.

Капитан сразу сел, откинув голову и двигая кадыком.

— Никогда больше так не делай, — сказал он с усилием. — Слышишь? Никогда!

— Ладно, ладно, чего ты? — бормотал лысый, надевая на него капитанку.

Высоко над холмами, в прозрачных тугих струях, парили чайки, подрагивая концами крыльев. На берегу динамитом рвался прибой.

...Чай в котелке закипел. Лысый поставил его на песок и бросил горсть заварки, щепкой сняв поднявшуюся коричневой шапкой пену.

Капитан лежал на плащ-палатке и жевал бутерброд с колбасой.

— Разве это еда? — сказал он, стряхивая в рот крошки с ладони. — Собачий корм! Дай-ка мне сигарету!

Лысый достал из костра горящую веточку, вытряхнул сигарету из мятой пачки, прикурил и протянул ему.

— Лангусты, креветки, устрицы, трепанги — вот кухня! — Капитан струйкой выпустил дым. — В крайнем случае — жареный кальмар со сметаной. — Он сглотнул. — Все зависит от того, как приготовить. Можно и из червяка сделать объеденье. Японцы, китайцы — вот кто по этому делу мастера! У них ничего не пропадает. Хотя поначалу, конечно, непривычно. Вот скажи — ты бы смог съесть салат из каракатицы?

— Не смог бы, — сказал лысый.

— Вот! — Капитан поднял палец и довольно хлопнул себя по животу. — А между прочим, морская пища — самая здоровая. Ни грамма мяса. Лев Толстой не ел мяса, а какая была голова! Слышишь — ни грамма мяса!

— Слышу, — сказал лысый. Он положил на кусок хлеба ломтик колбасы и протянул капитану, для верности сунув прямо в ладонь.

— Очень много фосфора, — говорил капитан с набитым ртом. — Если будешь в Йокагаме, зайди в какой-нибудь ресторанчик, где всё из моря, не пожалеешь. На наш вкус поначалу непривычно.

Лысый, слушая, достал из сумки фляжку, граненый стакан, чуть-чуть налил и сунул стакан в руку ка-

питану. Тот выпил, пожевал колбасу и тряхнул головой:

— Почему так мало?

— Не надо напиваться, — сказал лысый.

— Да ни черта мне не будет! — выругался капитан. — Не каждый ведь день у моря.

— Потом, — сказал лысый.

Капитан откинулся на спину, вздохнул, расслабляясь, и сердито лягнул ногой. Лысый смотрел на него и ласково улыбался.

— А вообще за границей много интересного, — повернувшись на бок и подперев голову рукой, задумчиво сказал капитан, ковыряя в зубах. — Со мной раз случился забавный случай в Японии. Как-то мы в Хакодате стояли и пошли в ресторан с моим грузовым помощником Васей. Ну, как обычно, садимся, делаем заказ, ждем. Я ей по-японски говорю... Я японский тогда хорошо знал, правда, подзабыл уже малость. Говорю: девушка, нам цвай штюк стейк и файф бир! Ждем. Обслуживание там, конечно, на высоте. Ну и приносят нам — что бы ты думал? Две чашки с водой. Представь, с простой водой и ничего больше. Мы смотрим друг на друга. И спросить не у кого. Кругом, понимаешь, одни иностранцы, и по-русски — ни бум-бум. Вот напасть! Тут Вася говорит: «Василий Степанович, — это я то есть, — Василий Степанович, — говорит, — поглядите, вон там в углу бичкаймер, который в очках, из такой же чашки рот полощет. Может, у них обычай такой — перед едой зубы полоскать?» Берем эту воду, полощем. И тут на нас как все уставились, даже жевать перестали. К нам бежит официантка. Я со страху взял всю воду и проглотил. Оказалось, — ха-ха-ха, в этой воде надо было мыть руки, представляешь? Ха-ха!

Капитан хрипло захохотал и закашлялся. Лысый смотрел в костер, посмеивался и почесывал затылок.

— Налей-ка еще, — капитан приподнялся на локте.

Лысый покачал головой, но все же налил немного.

— Не люблю я эти рефрижераторы, — сказал он, сунув капитану кусок хлеба закусить. — Ведь сколько лет плавал — и ничего, а тут пошел на рефрижератор. Ну кой черт меня понес к этому валу? Он был не застопоренный, понимаешь...

— Да ты сто раз рассказывал! — оборвал его капитан.

— Незастопоренный, — упрямо повторил лысый. — Мы здорово торопились. Я полез, а он возьми и повернись. Тут мне и раскатало руку, как блин...

— Да брось ты! — сказал капитан сердито. — Лучше налей еще.

— Все, хватит тебе.

— А, иди ты! — сказал капитан. — Я и сам могу.

Он нашарил в сумке фляжку, опрокинул в стакан, выпил.

— Вот теперь хорошо, — сказал он, вытирая рот.— Почти не качает. Мертвая зыбь. Только какая-то яма.

— Что? — не понял лысый.

— Упасть боюсь. Кажется, упаду и буду лететь.— Он привстал и, потеряв равновесие, грузно сел. — Готов, — хрипло сказал он. — Но это ерунда, не из таких ситуаций выбирались.

— Ты бы лучше лег, поспал, — попросил лысый.— Как я тебя такого поволоку?

— Ты лучше скажи: море, оно сейчас... какого цвета? А?

— Да шут его знает! — сказал лысый. — Море и море. Не плавал ты, что ли? Зеленое, и все тут.

— Зеленое — это как?

— Как бутылка.

— А бутылка — это как? — зло сказал капитан.

Он лежал, поджав ноги к подбородку, и пытался натянуть на себя край плащ-палатки.

Лысый ворошил палкой костер и посматривал на него. Через минуту капитан вздохнул расслабленно и захрапел. «Вот, опять», — подумал лысый. Дров осталось мало. Он поднялся и, левой рукой отряхивая брюки, пошел к океану.

Песчаный гребень осыпался под ногами, полы телогрейки раздуло. Ближе к воде дров было хоть отбавляй. Вдоль всего берега белели выветренные, отшлифованные ветром коряги и сучья. Казалось, это кости огромных зверей, когда-то давно пришедших всем скопом на этот берег умереть...

Он собрал хорошую кучу плавника, отнес ее повыше и вернулся к воде. Стоял и ждал. А когда волна откатилась, побежал и, наклонившись, стал торопливо умываться, черпая ладонью пенистую, соленую воду.

Она шипела, вымывая песок из-под каблуков. Навстречу, грохоча, отблескивая стеклом в темных, зеленоватых бликах, шла волна, на белом гребешке неся солнце.

Лысый побежал, и закипевший пеной вал разбился у самых его ног, обдав солеными брызгами. Он улыбался, слизывая воду с губ. Ветер поднял с висков редкие волосы. Он смотрел туда, где зеленая, переменчиво-зыбкая поверхность, постепенно поднимаясь, вдруг смешивалась с небом, уходила в бездонную холодную синь, которой, казалось, нет конца.

Абзац

Сначала абзац. Вот он.

«Пройдет десять лет, и он будет думать о том времени с легким сожалением, с грустью даже, не лишенной, впрочем, приятности от сознания того, что время, само по себе, ничего от него не требует и он может моделировать его по своему вкусу, что единственный укор — это настоящее и не потому, что оно хуже, а потому лишь, что так устроено зрение. Оно всегда видит лучшее на расстоянии, ищет его там, когда опадает шелуха бытовых неурядиц, ошибок, мнимых бед и поражений, тоже зачастую мнимых. Он будет думать об этом, сидя на лавочке неподалеку от речного вокзала, подставляя лицо летнему ветру с Амура, ласковому, как руки сиделки, весь объятый блаженством тихого нагретого воздуха, где сонно чирикают воробьи и перекликаются дачники на отчалившем речном трамвайчике, и окончательно сделает вывод, что прошлое не имеет ни смысла, ни значения, потому что единственное свидетельство о нем — память, да и та врет, и невозможно точно установить, стоит ли огорчаться тому, что тебя минуло, и стоит ли жалеть. Никто не скажет! И он с облегчением подумает, что ностальгия по прошлому — элементарный самообман. Ее нет! Есть свирепая тоска по жизни, ежесекундно, как по метрономy, улетающей в никуда, и бесплодная погоня за тем, что не смог ни понять, ни оценить вовремя. А потому, что уж там есть солнце, которое греет шею, купающиеся в луже воробьи, девушка на причале, с хохотом прижимающая к коленям взметнувшийся подол, — это есть, а все остальное — химера».

Такой вот абзац. Он неуклюж и малость нелеп, но что-то в нем есть. Он был написан вовсе не тогда, в Братском аэропорту, где его следовало бы написать, а гораздо раньше. Куда-то я его хотел всадить, что-то хотел объяснить, но куда и что — не помню. Он остался сам по себе, жалко было выбросить листок, как жалко, несмотря ни на что, расставаться с прошлым. И потом, ведь ничего не знаешь заранее, только догадываешься, и предчувствие тебе шепчет: погоди, мол, швыряться.

А там, в Братске, где застряли из-за непогоды, я вообще ничего не смог бы написать, хотя были с собой

и карандаш, и блокнот с многочисленными телефонами и разными записями — неразборчивой скорописью, над которой потом сам ломаешь голову, и уйма времени, пока заправляли и готовили к взлету самолет на Благовещенск, а сонные тучи низко висели над полосой, сея мелкую морось.

Я и не пытался, и не смог бы ничего написать — ни про маяту, ни про транзитников, которые, бестолково и нервно, как голуби, бегали по душному залу, пугая друг друга слухами о великой, быть может вечной, перемене погоды и авариях, которые терпят самолеты, заблудившись во мгле. При всем желании я ни строчки не смог бы написать — ни лжи, ни правды. Про то, каким не смог быть, и про свои мудрые мысли, которых не было. Про то, какой контакт у нас установился с искусственной блондинкой в японской куртке «баллон», как мы с ней интеллигентно-случайно познакомились и тонко побеседовали. И не смог бы написать, что на самом деле она смотреть на меня не хотела, такой я был весь помятый, небритый, с вздувшимися от повышенного давления жилами, вовсе не джентльмен... Ни про то, ни про это не смог бы написать, хотя каждые полчаса ходил пить пиво. Если в кармане что и осталось — трояк на оставшуюся дорогу.

Полдень вяло тащился, запинаясь о чемоданы, я сидел отупевший, разбитый, пытаясь читать купленный в киоске журнал, а в соседнем кресле, раздвинув жалобно изогнувшиеся трубочки подлокотников, ерзала от духоты огромная, жаркая, как печь, женщина с властным мужским лицом. Одной рукой она прижимала к животу картонную коробку, другой — пухлого, оловянноглазого младенца с выпавшей изо рта струйкой слюны. Младенец агукал, играл сам с собой в ладушки, то смеялся, пуская пузыри, то вдруг принимался густо орать и багровел, будто рассерженный начальник. Она крепко вытирала ему нос и косилась на меня, брезгливо поводя широкими толстыми ноздрями. И мне, ей-богу, хотелось встать перед ней по стойке «смирно», виновато склонив голову, заранее винясь во всем, что бы я ни сделал и что она так точно во мне угадала. Что я такое перед такой женщиной? Что все мы такое перед такими женщинами!

Стараясь не дышать и не смотреть в ее сторону, я супил брови и таращил глаза в повесть, где писалось

о том, как выдуманные герои играют в людей. И кто-то по фамилии Епифаньев в послесловии ко всему этому бреду про директора стройки, который борется за выполнение плана, а в личном плане у него не все ладится, жена у него дрянь, зато любит его простая маляр-штукатур Маша, и он мучится — остаться ли ему с женой или же отдаться порыву с подчиненной ему штукатуром-маляром, — так вот, этот самый Епифаньев писал, что в повести затронуты коренные проблемы современности. А у меня не хватало мозгов, чтобы понять, где они, эти проблемы, в чем таком заключаются, — в сволочизме ли директора, который пренебрегает чувствами простой девушки, не умея решить простейший треугольник, как будто в школе его не выучили считать на пальцах? И если уж сильный человек, этот самый директор, на ста страницах никак не решится бросить к чертям собачьим свою стерву-жену, для контраста с Машей увешанную бриллиантами, то что же говорить про обыкновенную, без всякой там железной воли личность вроде меня, разжевавшего свою жизнь как сено и имеющего привычку строить из этого трагедию? Так ли я грешен, господи? И откуда тогда вообще берутся на белом свете летчики-испытатели, подпольные миллионеры и палачи? Ничего этого я не мог сообразить. Я только представлял себе этого самого Епифаньева — кругленького, с насиженным задом, на котором воробьиным хвостом топорщится кургузый пиджачок. Вот он говорит о чем-то важном, склоняя к плечу лысеющую голову и выпячивая губу. В волосатых и будто бескостных пальчиках — папка...

Все это лезло в голову помимо воли каким-то безнадежно тоскливым бредом, и я стал думать о том, что́ сейчас делают друзья. Я помнил, как мы ели сосиски в буфете аэровокзала, потом я пошел через контроль, а они пытались лезть за мной, их не пускали, они махали и кричали что-то лихое. Я глупо ржал и тоже орал им в ответ. Потом половодье ночных московских огней, мокрый асфальт, в котором, как в зеркале, бегут красные огоньки задних фонарей, стада легковушек, темный лес по дороге в Домодедово. Вдруг — пустой темный автобус, я сижу один и вереница пассажиров идет сквозь метель к трапу ТУ-154. Я вдруг понял, что дорога стиснется и ее растяжимость, ее цветная объемность через несколько дней станет кинолентой, стремительно раскру-

ченной для одного зрителя в пустом зале, и что бы там ни было — скоро дом. Вспомнил о брате и стал думать, какой он, наверно, стал рослый, губастый и глупый, потому что не привык еще к себе такому вытянутому и пребывает в подростковом недоумении.

Я думал об этом сквозь тиканье часового механизма где-то за ухом, который делал голову похожей на бомбу замедленного действия, листал журнал и уже видел, как о н а идет по залу, спустившись со второго этажа. Видеть-то видел, но не воспринимал. Ее не должно было быть здесь: не знаю почему, но я никогда не встречал бывших знакомых иначе, как возвращаясь к ним. Может быть, они попросту не могли меня догнать, ведь так мотало шесть лет подряд — и хоть бы раз! Иногда это даже пугало. Но вот она шла по залу, и за ней волочились два парня в вышедших из моды полупальто-москвичках, а я ее не узнавал. Потому что это была совсем другая, совсем непохожая, а т а осталась во Владивостоке шестилетней давности, где еще не было высотного здания исполкома на набережной и где теперь себя не сыскать.

Она обернулась к ухмыляющимся парням, что-то сказала, и вот тут меня будто дернуло — я ее узнал...

Сам не знаю почему, я сделал вдруг нечто для себя непостижимое — прикрылся журналом, и, нахмурившись, отвернулся, словно бы испугавшись. Но чего?! Ведь так прекрасно было во Владивостоке шесть лет назад: узкие, взбирающиеся на сопки улочки, туман, прокаленные солнцем пляжи, ленивая, млеющая волна и ощущение просохшей соли на висках, а потом — сырая осенняя стынь, сиплые гудки судов на рейде, которые будят по утрам, долетая с бухты в открытые форточки общежития... она и мой ближайший друг Андрюшка Загородкин, наше тайное соперничество, его, в конечном счете, победа, все наши речи, планы, восторги, ощущение буйной энергии, которой только дай выход. Как же она его любила и как же он ее любил, силы небесные! Как же я им, дурак, не завидовал, потому что уверен был, что все еще впереди и нет вещей, которыми нельзя было бы швыряться. Как они печалились, что им негде остаться вдвоем — у нее дома родители, у него в комнате пять человек, галдеж, свет за полночь и дым коромыслом.

И вот они сидят на лавочке, тесно прижавшись, я

хожу рядом, курю, ловлю такси и потом — к морю, на Спортивную гавань. Мы лезем в ледяную ноябрьскую воду — два обалдевших от собственного визга щенка, а она, прямо как в кино, кричит нам с берега: «Мальчики, вы простудитесь!» Отъезды, приезды и бесконечная говорильня. Потом всех разбросало. Андрюшка улетел к себе в Магадан, оттуда на Чукотку, пасти оленей. Тогда это казалось замечательным, сильным, мужским решением. А сейчас я устало думаю: ну не дурак ли?

Потом вдруг оба явились ко мне в Хабаровск, в железнодорожную слободу, где не уснешь от вечного грохота на товарной станции и не вывесишь белье — вмиг почернеет. Оказывается — не выдержала, вместо того, чтобы загорать в Сочи, куда отправили ее родители, тайком, через Якутск, мотнулась к милому дружочку, а дружочек потащил ее на материк, уверив, что на оставшуюся сотню они проедут всю Россию, и в Сочи успеют позагорать, и что все это возможно, вовсе не бред, если только экономить на чае в поездах дальнего следования. И вот вечерами я сижу на крылечке, курю, смотрю, как разгораются над слободой первые звезды: жду, когда утихнет в темной лачуге их перешептывание, смех, когда наконец они натешатся и можно будет идти спать. Потом его призывают, она беременна, я лечу во Владивосток, там скандал. Он мне пишет — надоела, мешает, тяготит, висит на ногах. Раскидало. Расшвыряло, как расшвыривает гальку автомобильное колесо, и мы были этому рады, мы ведь не знали, что есть вещи...

Сейчас я бьюсь над феноменом тогдашнего перепуга, перебираю мотивировки этого «почему?» Зачем я от нее прятался? Потому ли, что не стал ни тем, ни другим, ни третьим? А ведь как бахвалился! Но, с другой стороны, — это же была общая игра и не могла же она тогда не понимать этого? Мог ли я не понимать, что она это понимала? Был бред, хотя восхитительный, конечно, бред, нечто похожее на радужные мыльные пузыри, когда их выдуваешь из трубочки. Мы оба с Андреем вполне устроены, — что ж страдать комплексом уязвленного самолюбия и неузнавания? Он плавает, очень даже неплохо зарабатывает. Я тоже трудолюбиво погоняю свою лошадку, хотя лошадка, по правде сказать, оказалась обыкновенным сивым мерином, не

оправдывает, так сказать, надежд, но пашет по мере сил. А может, мне просто не хотелось, чтобы она увидела меня таким басурманом с перекошенной рожей— чисто мужское кокетство. Я ведь тогда любил ее, так, полудетски, и если бы не Андрюшка, как знать?..

И вот вдруг — полнеющая женщина, у которой в каждой из черт, когда-то легких, уже отпечатан определенного рода житейский груз. Муж, дети, магазины, рубли, ежемесячно откладываемые на машину, набор пристрастий и снисходительное воспоминание о юношеских безумствах, в кавычках были те безумства или без — сейчас для нее неважно. Как я это почувствовал — сам не знаю. Человек, который может усмехнуться над самым чистым, глупым, легким временем твоей жизни, возможно, отчасти и способен внушить уважение своим здоровым цинизмом, но лучше с такими людьми не встречаться.

Ведь конечно, конечно, все, что было: как жил, любил, зарабатывал, можно было сделать иначе (сейчас-то я хорошо понимаю, что́, в какое время и как именно делать следовало), но кто сказал, что все это было зря?

И есть вещи, которые, если не тронуть их вовремя, трогать вообще нельзя, как нельзя расшатывать устои построенного дома: что-то может сломаться от таких забав безвозвратно. И зеркало чужого взгляда на тебя, где в темной глубине зрачка навек запечатлено твое прошлое, — что есть страшнее, что есть больнее этой правды, которую ты знать не желаешь?..

Я багровел, возил носом по журналу, а она, чуть глянув на меня сбоку, прошла к киоску «Союзпечати». Не узнала. Странно: вместо облегчения я почувствовал вдруг жгучее, жестокое разочарование. И меня подстегнуло: а может, это не она? И вместо того чтобы сидеть и читать повесть про злоключения несчастного директора, я повел себя как последний дурак: вскочил и почему-то на цыпочках, останавливая на себе удивленные взгляды, прокрался к киоску. Ее там не было. Я кинулся на улицу и обежал вокруг здания. Теперь я не был даже уверен, что вообще видел ее (или не ее?), что все это не галлюцинация. Я пробежал еще раз, растаптывая хлюпающий снежок, ругаясь сквозь зубы и злясь. И вдруг, как ни гнал я это от себя, я понял, что злюсь на себя, именно на себя и ни на кого другого, вовсе

не на нее! Подспудно мне нужно было убедиться, что это не она — вот эта мелькнувшая располневшая дама со скучающим и чуть насмешливым лицом. Она не имела права стать такой. Не имела права так смотреть, потому что там, шесть лет назад, все было правильно, никакой не детский лепет, не бред! Все было так, как должно быть у людей всегда, а потом спуталось и завиляло, то ли от безалаберности, то ли от того, что трусил там, где трусить не след, и в оправдание выдумал себе скептическую позу: мол, детство, шалости, как у всех. Значит — мы все уже тогда были такими! Играли в правду, но врали, зная, что эта одежка нам не подойдет, помешает жить, вот что! И мы быстренько ее скинули, отложили в сундучок за семью печатями, спрятали, как прячут на память школьную форму, чтобы иной раз, забыв о собственном подличанье или собственной неприспособленности к жизни, — умилиться, устроить себе этакую ванну с хвойным концентратом, размягчающим и мысли и нервы.

Я запнулся, ошеломленный, пытаясь все это как-то осознать. Вот ведь оно что... Память — штука коварная, как ты ее ни редактируй. Ведь кто-то, сам того не желая, может напомнить, уколоть, порушить весь уютный мирок, где — сплошь чужая виноватость, а ты — безвинная жертва рока и обстоятельств...

Я вернулся в зал, сел в кресло и подумал вдруг, что зря тогда не отбил ее и не женился.

...Погибаю, бродяжу, а она, красавица, кормит меня, молча страдает и безумно любит...

Я захохотал, поперхнулся под удивленными взглядами и вдруг затосковал по ней или по дикой этой мечте, по всему тому, что у нас не вышло, и чувствовал себя последней сволочью, и был зол на нее или не на нее, на то, что сейчас придется думать, решать и нельзя читать про директора.

Я бросил журнал, поднялся на второй этаж, взял пива и стал пить, стоя за усыпанным яичной шелухой мраморным столиком. Лучше бы мне было не лететь в этот день из Москвы, лучше бы она не шла по залу... Лучше бы, лучше, а кто его знает — что лучше?

За окном побежал по снежному полю самолет, задрал нос, полез вверх, окно содрогнулось и запоздалый грохот колыхнул здание. Я чувствовал, как тихо леденеет затылок, и ощутил вдруг предчувствие — не предчув-

ствие, что-то трудно уловимое — знание судьбы или жизни...

...на тебя летит с крыши кирпич, ты не видишь его, не ждешь, не можешь понять — откуда эта тревога и маята, а кожа на затылке стягивается, как на барабане, и волосы встают торчком...

Хотелось сделать что-нибудь громкое: шарахнуть о стекло бутылкой или опрокинуть столик, но вокруг стояли, разговаривали, пили пиво, и надо было перетерпеть это невыносимое ощущение немощи, вдвойне невыносимое, потому что в жилах звенит кровь и кулаки сжимаются, словно силясь перетереть камень. Я вернулся в зал, сел, стал вспоминать и тут понял, что ничего не помню, вру сам себе, бессовестно выдумываю, потому что не помню ни-че-го!

Я опять взялся за журнал, и там у них все кончилось хорошо: жена директора раскаялась в своем плохом поведении, сняла бриллианты и надела фартук, покинутая Маша вышла замуж за шофера, трест, которым руководил директор, перевыполнил план, все были вполне счастливы...

Через час объявили посадку.

ЕЩЕ НЕ КОНЕЦ, потому что жизнь не кончается вместе с рассказом. Себя не жаль, но куда уходит живое, в какие дали? Где оно — бывшее еще вчера? Вот рассказ, он лежит на подоконнике весь, кроме последней страницы. За подоконником, в открытом окне — вечерний сквер, лиловеющий в ранних сумерках. Деревья еще зелены, но внизу, на вытоптанной черной земле, уже много желтых листьев, а за деревьями не видно улицы, в оконный проем тянет ознобом осеннего вечера, и там, внизу, хромой старик в рваном пиджаке ищет под кустами бутылки, таская за собой погромыхивающий латанный мешок. Вот он остановился, замер, слыша в осеннем небе одному ему ведомое, и, сильно хромая, погромыхивая мешком за плечами, пошел прочь, будто бы в лес. Он уходит от меня, нищий, ободранный старик со своими бутылками в непролазный лес вечности, в неведомое для меня, неясное с в о е время, уходит в сумрак и смрад вонючего сквера, за которым зверем рычит и ворочается город, и кажется, — не этот бродяга, а само время уходит немым укором, подбирая все бездумно расшвыренное и утерянное.

Буханка

Помню, звезды в лобовом стекле плыли фонарями, и иногда наносило дымом, а в ушах стоял сплошной гул, и изредка впереди вспыхивали искры, быстро гаснувшие на встречном ветру.

Не помню, что мне тогда снилось в кабине трактора, может быть — дом, а может быть — еда. Я сидел на ящике с инструментами, поджав к подбородку колени, клевал носом и чувствовал, как кожа от холода немеет. Я весь был холодный и от этого уже не мерз, просто мне казалось, что сам я весь нахожусь где-то у себя в груди, что вот там-то и есть я живой, а вокруг мое застылое тело, в котором еле-еле движется кровь, холодная, как у рыбы. Я обнимал себя руками, грел грудь, и мне там было тепло, а руки и ноги были уже не мои и я не обращал на них внимания. Поезд шел, грохотали колеса, в щели несло ледяным ветром, над степью отвесно стояла фиолетовая, выстуженная, прозрачная ночь, а в ее подножье катила, играя пороховым переменчивым блеском, степь, было много звезд. Когда ноги затекали, я стучал ими о пол, если не помогало — открывал дверцу с сорванной пломбой и вылезал на крыло, в грохот и гул. Синяя опрокинутая плоскость валилась в глаза, волосы поднимало ветром, я видел блестевшие под луной крыши тракторов на платформах, вагоны и полувагоны — всю длинную дугу состава, которая уходила куда-то во тьму, пропахшую копотью. Оттуда роем разлетались искры и изредка несся тяжелый, утробный рев тепловоза.

Я бегал по платформе, чтобы согреться, обдирал бумагу с кабин, снова залезал в свой «Беларусь», кутал в бумагу ноги, поясницу и опять клевал носом в полусне-полуяви.

Кто-то ходил по платформам и светил фонариком. Желтый пронырливый огонек заглядывал в кабины тракторов, шарил по дверцам. Я понял, что ищут меня: наверно, кто-то из сопровождающих заметил, а может, с какого-нибудь полустанка передали, так, мол, и так, видели человека в тракторе. Но меня это не пугало: ищут, ну и пусть ищут, я крепче обнимал себя, чтобы согреть человечка у себя в груди, и прятал подбородок

в воротник рубахи. Да и что я мог сделать? Не прыгать же на такой скорости ночью.

Я возвращался домой после месячного бродяжничества по югу России. Что меня туда понесло с сотней рублей, заработанных летом в топографической партии, я и сам не мог понять. Глупая какая-то романтика. Я уехал из дома, оставив мужественную записку, чтоб меня, дескать, не искали, доехал до Харькова, там пересел на южный экспресс и через двенадцать часов был уже в Минеральных Водах. Ну и так далее. С группой московских туристов пересек Кавказский хребет и очутился в Сухуми. Денег мне хватило до Новороссийска, и я решил, что пора возвращаться. Во мне играло какое-то глупое упрямство, ведь можно же было найти где-нибудь рубль, ударить телеграмму домой, чтоб выслали деньги на билет, но мне казалось, что я должен доехать сам: мол, сам уехал, сам и приехал, на свои, такой вот я самостоятельный. А иначе как оправдать этот убег, чем? Так или примерно так я тогда думал. Впрочем, в шестнадцать лет это не удивительно. Ехал я на попутных машинах, товарных поездах и электричках и за десять дней голодной жизни дошел, что называется, до ручки. Я забыл еще и о том, что здесь не то, что у нас, на Востоке, где один только Транссиб и никогда не ошибешься, только смотри, в какой стороне солнце всходит. Здесь дороги разбегались в разные стороны, переходили одна в другую. Кое-как, путаясь, возвращаясь, я добрался до Поворино, прыгнул на первый попавшийся товарняк и вместо того, чтобы ехать на восток, поехал на юг, хотя и не знал об этом.

Мне было хорошо оттого, что я еду и еще даже дремлю на ходу, совмещаю, значит, два необходимых дела, и с каждым километром дом все ближе. А ночь гудела, свистела в щелях, она лилась вокруг, и можно было подумать, что ночь — это не просто темнота, а какое-то явление природы, вроде тайфуна или урагана, только более тихое. Я все клевал носом, зажимая в себе остатки тепла, кто-то ходил с фонарем по моей платформе, мелькнуло в свете фонаря узкое лицо под козырьком железнодорожной фуражки, фонарь ударил прямо в стекло, я скорчился еще больше, закрыв глаза и убеждая себя, что если я его не вижу, значит и он меня не видит. Фонарь вильнул и потух, я окоченел и уснул.

Разбудила меня тишина. Я открыл глаза и увидел залитую светом платформу с тракторами впереди меня. Поезд стоял на какой-то станции и поверх грузового вагона на соседнем пути виднелись крыша станционного здания с прожектором и верхушки пирамидальных тополей.

Я закрыл глаза и задремал, но тут послышались чьи-то шаги, дверца распахнулась, меня выдернули из кабины, протащили по платформе и швырнули вниз. Я упал на замазученный гравий к ногам милицейского сержанта. Рядом с ним, приподняв костлявые плечи и вскинув птичье личико, стоял хилый мужичок в форме железнодорожника. Еще один, светя фонарем, ходил по платформе и проверял пломбы на тракторах.

— Остальные все целы! — крикнул он. — Ты, Адам, проверь-ка у него рюкзачок!

— Ты что в тракторе делал, а? Запчасти воровал?— спросил меня хилый Адам почему-то свистящим шепотом и тыча мне в лицо фонарем.

Он, наверно, испугался меня тогда — на платформе и не мог мне этот страх простить. Наверно, думал — бандит, рецидивист, а тут длинноволосый, тощий, грязный подросток с отупелым лицом и непонимающими глазами.

— Ты что там, паскуда, делал! — закричал он плачуще и замахал фонарем, часто поглядывая на сержанта.

Сержант, позевывая, поднял мне руки, похлопал ладонями по штанинам, по бокам и взялся за рюкзачок. Я так и стоял с поднятыми руками, не зная, можно ли их опустить.

— Отвечай! — заорал хилый и, птичьей лапкой вцепившись мне в ворот рубахи, начал его скручивать, оскалив нескладные желтоватые зубы.

Он был мне под подбородок, но я терпел, потому что рядом была милиция, а я был кругом, как ни крути, виноват.

— Спал... — буркнул я и оттолкнул его легонько, чтоб не душил.

Он храпнул, размахнулся и, мельком глянув на сержанта, который тряс рюкзак, привстав на цыпочки, ударил меня по лицу. И опять замахнулся. Я отшатнулся, защищаясь, поймал его руку и оттолкнул.

— Петро! — закричал хилый радостно и уже стер-

венея от злобы. — Он на меня руку поднял! Иди сюда, Петро!

— Нечего свои распускать, — хмуро сказал сержант, подняв глаза от рюкзака, и уже строго прикрикнул:— А ну — стоять! А то обоих заберу!

Он вытащил из рюкзака столовый нож, который я купил в Новороссийске, чтобы резать хлеб, и повертел им, хмыкая и пробуя на изгиб.

— Нож! — торжествующе заорал Адам, тыча в меня пальцем.

Мимо, постукивая молотком, прошел осмотрщик и опасливо на нас покосился.

— Да-а! — сказал сержант и, сунув нож в карман, крепко взял меня за руку. — Что ж, пойдем разберемся.

Он повел меня, как старший брат ведет младшего, позевывая и придерживая за руку, когда я, сонный, запинался.

Хилый Адам бежал за нами и пинал меня. Я не мог взять в толк, зачем он это делает. Может, его часто били в детстве и он стал бояться, от этой боязни злился и вымещал злость на тех, кто заведомо не мог ему ответить?

Но мне-то что было до его проблем! Я приостановился и лягнул его ногой в живот. Он взвыл. Сержант сильно дернул меня за руку.

— А ну не распускать! — прикрикнул он и, обернувшись к трясущемуся Адаму, посоветовал: —. А вы бы шли лучше в вагон.

Адам так и остался стоять, корча личико, и мне показалось, что он похож на какого-то мелкого зверька-пакостника, хорька, что ли...

А мы пошли дальше — мимо станции, мимо домов, потом свернули в темную улочку. Я часто спотыкался, а сержант придерживал меня.

— Бродяжишь? — сказал он, глядя на меня сверху, и, чуть сдвинув козырек фуражки, сам себе подтвердил: — Бродяжишь. А куда едешь?

— От тетки...

— Куда, говорю?! Ты что, бухой?

— На Дальний Восток... — Что-то сопливое и влажное встало у меня в горле. — Обокрали меня в поезде...

Я врал вяло, наспех говоря, что на язык лезло. Хотелось одного — спать и есть.

— Ты же на Волгоград едешь, дурило! — удивился сержант, сдвинув фуражку, и, подумав, опять сказал: — Ну, разберемся.

Мы пошли дальше.

В отделении сержант бросил на стол дежурному лейтенанту мой паспорт, нож и стал что-то рассказывать, кивая на меня. Лейтенант смеялся. О чем они говорили, я не слышал. Казалось, теплый воздух вокруг меня блаженно сгустился и стал теплой ватой, сплошным тюфяком, периной, звуки сквозь него доходили неотчетливо и приглушенно. Я сидел на стуле, клевал носом. Клевал, клевал — и провалился.

Проснулся оттого, что сержант сильно потер мне уши. Лейтенант с любопытством разглядывал меня и улыбался. Он был очень молод и, наверно, ему было очень уютно за своим столом, где были аккуратно разложены какие-то папки и стоял письменный прибор. Наверно, ему было хорошо от сознания, что все вокруг входят и выходят, а он сидит за своим столом.

— Отпустите меня? — спросил я тупо. — Мне домой надо, у меня деньги украли.

— Ишь ты скорый какой! — Лейтенант рассмеялся, и на его крепких красных щеках появились ямочки. — Так сразу тебя и отпусти! Еще проверим, что ты за птица! На тебе бумагу, пиши. Все пиши: где украли, откуда ехал, куда, зачем в трактор залез. Все пиши!

Он вытащил из стола лист чистой бумаги, ручку и положил на стол, потом глянул на часы, потер руки и, изобразив на лице некую начальственную сосредоточенность, крикнул:

— Сидоренко!

Сержант заглянул в дверь. На его лице была пыльная, мятая усталость, он, наверно, не успел ее сразу снять, и теперь лицо его прямо на глазах вдруг стало внимательным и холодным.

— Чайку организуй, — сказал лейтенант и, глянув на меня, опять улыбнулся, потер руки. — Проверим, что ты за птица из породы пернатых!

Он рассмеялся, довольный своей шуткой, открыл ящик стола и положил перед собой какой-то сверток.

Я писал, стараясь врать правдоподобно, и чувствовал грязь у себя на спине, она облезала, как чешуя. Бумага на столе шуршала, я глянул и подавился собственной слюной. Лейтенант ел бутерброд с колбасой, мимоходом

просматривая лежащие на столе бумаги. Я ткнулся глазами в стол и, часто моргая, глотая слюну, молил бога, чтоб он куда-нибудь вышел, лейтенант, а бутерброд оставил бы...

— Ты не спи давай! — прикрикнул он на меня и откусил от бутерброда. Зубы у него были крепкие и очень белые, наверно, от молока и зубной пасты. И вообще от него шел хороший, чистый запах — запах формы, сапожного крема, чистых кальсон, здоровья. От Сидоренко так не пахло.

Шансы мои все уменьшались и сошли на нет, когда лейтенант ладонью смел со стола крошки и, вытерев рот платком, аккуратно сложил его и убрал в карман.

Вошел сержант, неся в растопыренных пальцах два парящих стакана в подстаканниках. Лейтенант опять оживленно потер руки и поставил на стол железную баночку со слипшимися конфетами. Он бросил в рот конфетку, что-то пробурчал, причмокнул и на какое-то мгновение превратился в наивного белобрысого паренька, который в своей суровой милицейской жизни не добрал сладкого и теперь блаженствует. Сидоренко стоял рядом, сложив руки на животе,—большой, с выдающимся загривком. Китель у него был мятый и весь лоснился.

— Ну, что там московские? — спросил лейтенант, прихлебывая чай. — Не бузят?

— Поют, — сказал Сидоренко и опустил руки к швам. Они у него замерли, шевельнувшись как бы в нерешительности, потом он убрал их за спину. — На гитаре играют. Может, отобрать?

Лейтенант сморщил лоб, задумался и махнул рукой:

— Да пусть поют, только тихо чтоб. А так вообще... ничего?

— Отцами грозятся, требуют отпустить.

— Все на волю торопятся! — лейтенант подмигнул мне. — А что с ней делать — не знают. — Он глянул на Сидоренко и уже без улыбки добавил: — Пусть посидят до утра, а то взяли моду без билетов ездить. Тут им не Москва! Больно вольные!

— Так точно, — сказал Сидоренко, и в его голосе мне послышалась ирония.

— Ну что, написал? — чуть сморщив лоб, глянул на меня лейтенант над стаканом.

— Написал, — сказал я.

Он взял протянутый лист и стал читать, прихлебывая. На лбу у него выступила испарина. Я качался на стуле, тупо ожидая, когда кончится эта мука с колбасой, конфетами и чаем. Меня качало, в ушах возникал и пропадал звон, а правая нога от сидения опять затекла, она очень быстро стала затекать в последние десять дней.

Я снова провалился, очнулся, почувствовав, что меня трясут, и громко икнул.

— Сидоренко! — рассмеялся лейтенант. — Веди его в холодную, он нам все помещение завоняет!

Стакан с недопитым чаем стоял и все парил, сволочь...

Сидоренко поднял меня за локоть и легонько подтолкнул. Мы вышли в тесный прямой коридор, куда выходило несколько дверей, обитых железом, с глазками. Откуда-то несся шум. Сержант придержал меня и, отойдя чуть в сторону, стал возиться с замком. В той камере смеялись и о чем-то громко разговаривали. Услышав лязг замка, притихли. Сидоренко распахнул дверь, и через его плечо я увидел трех обросших и как-то нелепо одетых парней на помосте. У одного в руках была гитара, в камере стоял густой дым.

— Накурили, — сказал Сидоренко без выражения,— наплевали, а еще, небось, родители приличные.

Они переглянулись и расхохотались.

— Тунеядцы, — сказал Сидоренко устало и запер дверь.

Они тут же закричали в смотровой глазок:

— Когда отпустишь, шеф? Мы голодовку объявляем!

Сидоренко ткнул в глазок кулаком и уже строго прикрикнул:

— А ну кончай базар! Чтоб к утру камера была чистая! Интеллигенты... Тут вам не в институте учиться.

Они там загалдели, но сержант уже пошел дальше и потянул меня за собой.

— Хиппи, — сказал он мне, хотя я его ни о чем не спрашивал. — По три месяца специально не моются, чтоб на человека не быть похожим. Днем с поезда сняли. У одного отец режиссер, а может, врет. Документов-то у них нету.

Я молча шел за ним по коридору. Какое мне до них

было дело? Мне б только до камеры добраться да лечь.

Мы остановились, и Сидоренко опять стал возиться с замком, сильно сопя. Он открыл дверь и подтолкнул меня в темноту. Лампочка была выкручена, но Сидоренко не стал ругаться.

— Вот поночуй тут до утра, — сказал он. — Только не стучись, спи себе тихонько.

И ушел, загрохотав замком.

Я стоял, привыкая к темноте. На полу лежал решетчатый свет из оконца, пованивала параша, вдоль всей стены тянулся невысокий, в полметра, дощатый настил. В дальнем углу сидел паренек примерно одних со мной лет, а ближе ко мне сидел дед и астматически сильно дышал, держась за пухлую грудь, и еще кто-то лежал, укрывшись телогрейками. У помоста стояли ведро с водой и кружка.

Я напился и сел на помост. Ни с кем не хотелось разговаривать. Потом тот, что лежал, завозился, откинул телогрейку и хрипло спросил:

— Ты по какой статье?

— Не знаю, — сказал я.

— Ну, за что тебя?

— Говорят, бродяжничество.

— Так это двести девятая, — сказал он, подумав, и прибавил: — Ерунда, до двух лет.

— А тебя за что? — Я едва собрал голос.

— За драку, мать их... — Он выматерился от души и опять стал устраиваться спать, стуча по доскам костями долгого, нескладного тела.

Я тоже лег, поджав колени и подложив локоть под голову. Надо было спросить, за что посадили паренька, но он вдруг сам закричал слезливым тонким голосом:

— Да не крал я мопед этот, не крал! Я взял на полчасика, покататься хотел!

— Молчи, сука, изуродую! — утробно откликнулся из-под своих телогреек длинный, и я даже развеселился — вот как ловко сказал!

Паренек в углу примолк и только все всхлипывал. Было прохладно, я никак не мог уснуть, а длинный рядом уже храпел, свистел носом и вдруг начинал тяжко мычать и выкрикивать: «Марь Иванна! А Марь Иванна!» Я свернулся клубком, сон потихоньку стал накрывать меня все плотнее, и я подумал — как хоро-

шо, что я попался, вот у меня есть где спать и завтра на работу поведут, накормят...

Ночью я проснулся от холода. В разбитое оконце полз ледяной ночной воздух, длинный нечеловечески храпел и стонал, паренька не было слышно, я повертелся, потом стянул с соседа одну телогрейку, укрылся с головой и уснул. Мне снилась деревня, наш огород и то, как дед, прихрамывая, ходит по огороду, поворачивая желтые дыни бледными боками к солнцу, и какой над этим всем стоит тихий ленивый свет, такой, что даже дымы костров не уходят в небо, а растекаются пеленою, туманят.

Разбудил меня сержант Сидоренко. Он сидел на помосте, большой и грузный, сложив на животе руки, как баба на посиделках, и время от времени дергал меня за ногу, о чем-то переговариваясь с длинным. Я отбрыкивался, забыв, где нахожусь, потом подскочил. Сидоренко встал, поправил фуражку и загремел ключами. Я понял, что надо идти. Длинный сидел на помосте и удушливо, с хрипом, кашлял. Голова у него была всклокочена и в волосах торчал какой-то сор и горелые спички, он кашлял, ворочая глазами и показывая белый с желтым язык. Паренек спал. Мы вышли из камеры, в дверях Сидоренко приостановился и, двинув фуражку, сказал, глядя на длинного через плечо:

— Не связывался бы ты с ней, Петя. Ведь укатает она тебя. Во второй-то раз. Или там мед?

— Ну да... пусти волка... в сарай... — Длинного бил тяжелый кашель, и он царапал на груди рубаху, пуча глаза. — Пустили, говорю, волка к корове, а потом жалятся, что молока не дает!

Я только сейчас заметил, что под глазом у него синяк, а ухо вспухло и висит вареником.

Сидоренко покачал головой и закрыл дверь.

— Ну, понял? — сказал он, когда мы шли по коридору, кося на меня сощуренными, вымученными бессонной ночью глазами. — Видал, какие дела? А ты из дома бегаешь. Был бы я твой батя, ой и всыпал бы тебе горячих!

Я почему-то очень его словам обрадовался. Ведь, в самом деле, если человека не жалеют, а хотят всыпать горячих, значит, хуже наказания не будет, не посадят. Нельзя же два раза за одно наказывать. А горячие — что! Лишь бы отпустили. Я выспался и уже не

клевал, только в желудке посасывало, да была какая-то слабость, но к ней я уже притерпелся.

В дежурке было много народа, входили и выходили милиционеры, и «московские» что-то доказывали капитану. Он на них покрикивал, они притихали и опять начинали шуметь. Лейтенант, все такой же улыбчивый и розовощекий, отдал мне паспорт, рюкзак и велел в двадцать четыре часа катиться со станции. Я пообещал и быстренько вышел, пока он вдруг не передумал. Вокруг была деловитая утренняя суета, и я ее побаивался чем-то новым в себе, открывшемся недавно. Я чувствовал, что когда вот так по-утреннему хлопают двери и сильно перекликаются свежие, жаждущие деятельности голоса, пора куда-то прятаться.

Сидоренко вышел следом за мной и закурил на крылечке. Было раннее утро, роса лежала на ступеньках, в тополях чирикали воробьи, в листве местами светилась рыжина, а за ними, над крышами двухэтажных домов с пыльной скульптурой и пузатыми колоннами на балконах, висело огромное красное солнце. Я медлил уходить, чувствуя, что Сидоренко относится ко мне хорошо и надо ему что-то сказать на прощанье, например, про то, как далеко мне еще ехать. Сказать спокойно, деловито сощурившись и сплюнув в сторону, как говорит один мужчина другому о предстоящей большой работе. И чтобы он удивился и с искренним удивлением покачал головой, и чтобы почувствовал, что я не обыкновенный бродяжка, а птица куда более высокого полета. Я сказал, но он не удивился, а просто кивнул, может быть, плохо представляя, и сказал:

— Мать-то тебя потеряла, небось?

Голос у него был сухой и все-таки с оттенком участия, таким же, когда он говорил, что мне надо всыпать горячих. Я не нашел, что ему ответить, и вдруг начал хорохориться и наболтал, что мне бы только до Пензы добраться, а там у меня родичи, они выручат, а мать я просто не хочу беспокоить.

— Ты заходи, если что, — сказал он мне и, затоптав окурок, ушел, отдав честь на прощанье.

Я побрел за ворота, ругая себя последними словами. Ну зачем я ему наврал? Надо было рассказать все как есть, честно, как мужик мужику, а я насочинял черт-те что. И зачем? Я остановился, раздумывая, не повернуть ли? Но не повернул. В самом деле, чем

он мне мог помочь? Ну посадил бы на поезд до Поворино, а дальше? Лучше уж самому...

Я сорвал травинку и, жуя ее, пошел к станции, но не к вокзалу, а туда, где в степи за поселком стояли на запасных путях вагоны. Дня три я не ел вообще ничего и теперь остро чувствовал тело, как оно передвигается, трется костью о кость.

Запасных путей было много — восемь или десять. Вагоны стояли густо, я ходил между ними и читал названия, написанные мелом. Но названия станций были все незнакомые, я знал только одно — что мне надо на север, в Поворино, потому что если опять ошибусь и уеду в Волгоград, то уже не выберусь, пропаду.

Солнце уже поднималось, в степи заколыхалось марево и душный жар от нагретого гравия согрел меня. Я ходил, ходил, читал на вагонах названия станций назначения и не знал, куда приткнуться. Потом у железнодорожника в грязной спецовке спросил, какой состав пойдет на Поворино. Он долго смотрел на меня, грязного, длинноволосого, с рюкзачком за плечами, вытягивал морщинистую шею, часто моргая белесыми ресницами, потом махнул молотком на длинной ручке в сторону состава полуплатформ, на которых громоздились ящики с оборудованием и стальные конструкции мостовых перекрытий. Я подождал, когда он уйдет, залез на платформу и лег за ящиками, подложив рюкзак под голову. Я лежал час, и два, и три, изредка, накоротке, засыпая. Пахло ящиками, гарью, мазутом и еще каким-то непередаваемым скипидарным запахом, которым пропитаны все маленькие станции и общие вагоны пассажирских поездов.

Над станцией высоко-высоко парил ястреб, и я подумал, что оттуда, сверху, станция смотрится чепуховой грязной проплешиной, где копошится вялая, ударенная солнцем жизнь. Я подумал, как хорошо ему парить там, в плотном чистом свободном воздухе высоты и видеть в тающей дымке испарений на горизонте слюдяные, как бы подвешенные над землей призраки рек. И Волгу, широко раскидавшуюся своими протоками, рукавами, и, может быть, — Дон. Я пожалел, что глупой птице дано так несправедливо много, и еще пожалел, что у меня нет ружья, так хотелось сломать это спокойное презрительное парение над землей, которая принадлежала мне! Если уж плохо, так

пусть будет плохо всем, и нечего там летать, где на тебя нет милиции и даже паспорта никто не спросит. Я щурил глаз и мысленно стрелял раз за разом, а он все летал, кружил, — наверно, видел, как я лежу на платформе, потом куда-то исчез.

Когда я согрелся, опять захотелось есть, но с платформы уходить не стоило — мало ли что, вдруг состав двинется без меня? Я вытряхнул из рюкзака все, что там было — нож, фляжку для воды, грязные носки и еще какие-то тряпки, нашел скомканную бумажку от маргарина, жирно блестящую, с расплывшимися буквами, и вылизал ее. Потом стал отрывать от нее кусочки, скатывал и бросал в рот, как леденцы. Бумага сильно отдавала парафином, и в конце концов меня вывернуло. Я успокоился и уснул.

Очнулся я от сильного толчка, увидел густеющую синеву над степью, длинные тени столбов, легшие поперек насыпи, и вагоны справа, которые катили мимо, набирая скорость. В первое мгновенье мне показалось, что двинулся соседний состав, я глянул влево и понял, что это движется мой состав, а тот, справа, стоит. Но движется не на север, а на юг, к Волгограду, оставляя справа клубок закатного солнца.

Состав двигался медленно, я спрыгнул на ходу и, пробежав несколько шагов, остановился. Состав, изгибаясь на повороте длинной цепью полыхающих в закате ржаво-красных вагонов, вышел за стрелку, остановился и двинулся в обратную сторону, на север. Я побежал что есть силы, перепрыгивая через рельсы, проскальзывая под вагонами, и, пробегая пустой путь, увидел, что ко мне движется по рельсам задний вагон моего состава. Его просто перегоняли с места на место.

Он прогромыхал мимо меня с тяжелым стоном колес, обдавая ветром лицо, оглушительно залязгал буферами и остановился. Потом гуднул тепловоз и, зафырчав, укатил. Я залез на свою обжитую платформу, посидел, радуясь ей, знакомой, полежал, глядя, как в темнеющем небе слабым дрожаньем начинает искриться звездная роса. Но лежать и ждать стало тоскливо, я слез с платформы и пошел на станцию. По пути оглянулся: платформа стояла на месте, и я пожалел, что, наверно, больше не увижу ее. Я испытывал к ней тихое теплое чувство, как к живому существу.

Весь перрон перед станцией был залит светом, и я

первым делом глянул, как же она называется. Она называлась Филоново. Но слишком долго гулять здесь было нельзя...

Когда человеку плохо, он цепляется за что придется, вот и я все думал о сержанте Сидоренко, убеждая себя, что чуть что, я сразу к нему и пойду. С этой верой мне было легче двигаться. Я ушел с вокзала и пошел бродить, отыскивая какую-нибудь столовую, где можно перехватить хлеба или еще чего-нибудь съестного. Свет все тоньшал и мерк и наконец стал невидимо теплым, живым, как всякое существо, и даже страх за него появился, как за всякое живое,—вот-вот исчезнет. Я бродил, а улочки все были деревянные, земляные. По-вечернему лаяли и завывали собаки и вообще здорово было похоже на то, как там у нас на Востоке в такие же часы. Тоже тихо, тоже собаки лают и черемухи висят над заборами нечесаной шевелюрой, а на скамейках под оградами сидят старушки. У прохожего я спросил, где тут столовая, и пошел. Я издалека почуял ее по запаху, и точно — скоро увидел длинное кирпичное здание с окнами, завешенными кисеей, и там люди сидели и ели. Уже начинало тянуть холодком — сентябрь на дворе, — и над крышами деревянных домиков плыла красная краска, а там, за домами, была безлюдная, пожелтевшая от солнца и осени степь, и, может быть, именно от сознания этой пустоты за домами, которой нет края, мне было легко войти. Сразу, с порога, я посмотрел, что за столовая — с самообслуживанием или нет? На столах стояла посуда, и по проходу ходила старуха в рыжем от помоев фартуке, катя перед собой тележку с тарелками и стаканами. Я сразу понял, что мне повезло.

Я вымыл в умывальнике лицо и руки, вытерся рубахой, мимоходом увидев в зеркале свои ребра, меж которыми западала кожа, и пошел в зал.

Я сразу увидел столик, на котором стояла почти нетронутая тарелка борща с ложкой. Рядом стопой стояли грязные тарелки, два стакана с недопитым компотом, валялось два или три куска хлеба в лужице. Какая-то сытая сволочь бросила, а может — просто торопился человек. Я сразу пошел прямо туда, не оглядываясь по сторонам, и сел спиной к залу. Передо мной было два столика, за одним сидел пожилой мужчина в очках и спецовке, а за вторым две женщины,

которые о чем-то переговаривались, брезгливо отставляя мизинцы от ложек. Их, наверно, раздражали грязь и запах кухни, но они заплатили деньги и не хотели терять их, вот так все взяв и бросив. Им надо было зачем-то показать, что они если и едят, то почти по принуждению, и бабуля со своей тележкой, которую они остановили, стояла перед ними виновато, кивая и вытирая руки о фартук. Они отпустили ее и опять брезгливо принялись за борщ, изредка бросая по сторонам укоризненные взгляды.

Я выждал некоторое время, будто я сижу и жду товарища, который стоит в очереди к раздаче, потом пододвинул тарелку, взял мокрый, расползающийся хлеб и стал есть, не чувствуя вкуса. И тут вдруг обе женщины бросили есть и уставились на меня, а я сгреб со стола еще кусок хлеба, мокрый, рассыпающийся и стал пихать его в рот, давясь, потому что тоже испугался. Одна из них бросила ложку и закрыла ладонью рот, отвернувшись, а вторая, покраснев, закричала: «Михал Иваныч!». И тут же мне на плечо легла ладонь и гневный голос надо мной велел мне бросить ложку, но я не сразу бросил, хлебал, и тут мне дали по уху и вздернули за шиворот. Он был очень высокий, сытый, наверно, сильный. Он взял меня за ухо и повел через весь зал. Я закрыл глаза, чтобы не видеть лиц, а он вывел меня из дверей и повел. Наверное, я простил бы ему все это, если бы он просто ударил меня и отпустил, но он вел меня и награждал тумаками.

Не надо было ему так со мной поступать. Если бы он не крутил мне ухо, не вздергивал меня, заставляя идти на цыпочках, может быть, мне и вправду стало бы стыдно. Но он собирался отвести меня в милицию. Вот это у меня как-то не укладывалось в голове. Да неужели же человек, который подбирает чужую пищу, будет бояться милиции? Ведь там и переночевать можно и с голоду не умрешь. Я понял, что он этого не соображает, он наказать меня хочет милицией, сытый и гладкий, самоуверенный взрослый человек, к которому женщины обращаются за помощью: «Михал Иваныч!»

И тут со мной что-то случилось. Я хотел было заныть перед ним, взрослым, о своих бедах, и если б он не сказал про милицию, я бы так и сделал. Но когда он это сказал, у меня сперло где-то в груди. Этот человек

никогда не сидел в камере, никогда не нюхал парашу, никогда он не ходил к милиционеру, как я это делал в Керчи, занимать денег на буханку хлеба. Он никогда не хлебал помоев, никогда не ездил в товарняках, никогда не сидел с милиционером за одним столиком в вокзальном ресторане, никогда не жрал, давясь, холодную картошку с долькой огурца и не видел глаза человека в форме, которому стыдно оттого, что он не может дать тебе денег. И он, этот, вел меня в милицию, пожалев тарелку недоеденного борща, которая все равно пойдет свиньям!

Я не знаю, что такое ненависть, разве можно такое слово определить? А у меня сперло дыхание, я перестал что-либо соображать, стал весь холодный и очень сильный, и понял, что его надо убить. И все это без всякой злости, просто во мне занозой сидела страшная тягучая боль и выдернуть ее можно было только таким способом. Я знал, что ни Сидоренко, ни даже улыбчивый лейтенант меня не осудят, может быть даже посочувствуют. Просто, выводя кого-нибудь из камеры, Сидоренко скажет: «Видал, какая жизнь, а ты, дурак, из дома бежишь...» Но не осудят, нет, потому что мы не по разные стороны, мы в шаге друг от друга, и мы должны быть ближе плечами, потому что то, что случается с одним, может случиться с каждым, нам некуда друг от друга деваться и мы должны друг другу прощать, за все должны прощать и быть братьями и отцами, если нет у нас братьев и отцов... Со мной была едва не истерика, но я был весь очень спокойный, напружиненный, потому что знал: этот — враг. Чистый, правильный, готовый услужить женщинам. Я думал об этом не так прямо, как-то по-другому, без слов, и все готовился и позволял заворачивать мне ухо и пинать, а когда мы отошли в темноту, я ударил его по руке и пошел в переулочек.

Он кинулся за мной и ухватился за рюкзак, выкрикивая матерные слова, которые у него как-то не выходили. Я спустил с плеча лямку рюкзака, выскользнул из него и побежал. Он сразу заорал. Переулочек кончался забором, но я и не думал через него лезть, мне нужны были расстояние и темнота. Я остановился у забора и стал выламывать из него штакетину. Мне хотелось, чтобы она вылезла вместе с гвоздями, но она обломилась, я отшвырнул обломок и стал шарить по

земле кирпич или камень. Но под рукой шуршала земля, голая и сухая. Он бежал ко мне, топоча и вскидывая колени, а я встал, расставив тощие руки и нагнув голову. Он вдруг остановился и опять стал неумело материться. И я понял, что он боится. Боится! Я-то ничего не боялся, а он — боялся! Я нагнул голову и стремглав побежал на него, и когда он уже готов был поймать меня, вильнул, взмахнул рукой с комком зажатой земли, и он, заслонясь руками, отпустил рюкзак и опять закричал что-то. Я бегал вокруг него в темноте и старался выдернуть рюкзак из-под его ног, а он выбрасывал мне навстречу руки, стараясь ударить или поймать, и рукава его плаща шуршали: «Ш-шух! Ш-шух!» Если бы он хоть раз в меня попал, мне бы пришел каюк, но он не попадал, потому что был неуклюж, неповоротлив, а я метался и бегал вокруг него и разглядеть меня было трудно. Он опять заорал, как орут, наверно, здоровые, откормленные птицы, и все топтался над рюкзаком, выбрасывая свои толстые руки, стараясь меня зацепить, и я совсем взбесился. Я нечеловечески взвыл и кинулся вперед, нагнув голову. Он не успел защититься, и я воткнулся головой ему в мягкий живот и стал молотить его кулаками, а он сказал: «Ой!» и совсем не защищался, наверно, от неожиданности и ошеломления.

Я выдернул у него из-под ног рюкзак и отбежал, а он постоял, растопыря руки, и быстро пошел прочь. Я заулюлюкал ему в спину, запрыгал, выдумывая самые обидные прозвища и обзывая его всеми грязными словами, какие только может выдумать ум человеческий, швырял ему вслед сухие комья земли, но он даже не оглянулся, все так же быстро шел и скрылся из переулка, а я сел и заплакал, и когда вся истеричная дурь из меня вышла всхлипами и воем, почувствовал, что не могу встать — я истратил все силы. Я посидел, отдыхая и часто, как запаленная собака, дыша. Потом встал и опять стал бродить, без всякой определенной цели, но и не бесцельно: меня вел уже какой-то инстинкт, направленный на поиски пищи.

Я сам себе выбрал этот бродяжий путь, никто меня не заставлял, я сам себе хотел доказать и показать характер другим, я не умел просить, не хотел этому учиться и часто злился на себя за это неумение. И все-таки я уже знал, что если есть у человека цель, то

его ничто не остановит, если он сам не остановится. Он с закрытыми глазами, полумертвый, доползет, только не надо лезть к людям со своими бедами, человека сразу не угадаешь, а тот, кто не может не подойти, все равно подойдет, — это я тоже знал.

Уже совсем стемнело, когда я опять вышел к вокзалу. Перед вокзалом была площадь, залитая светом, а на противоположной стороне ее стояли в ряд трехэтажные запыленные дома под тополями. Я пошел вдоль этих домов, обогнул площадь, чтобы не показываться под светом, и пошел вдоль вокзального здания. Я хотел найти буфет, чтобы потом, в самом здании, не искать, не оглядываться, привлекая лишнее внимание. В одном из окон, за кисеей, которую почему-то очень любят на маленьких станциях, стояли столики и вокруг них толпились люди. Был виден и буфетный вход, и я прикинул, что от входа надо сразу налево, но не пошел сразу, а подождал, пока из подъехавшего автобуса стали выходить пассажиры, и вместе с негустой толпой протиснулся в двери, а потом сразу свернул к буфету.

Я знал один прием, который на глазах у всех позволяет делать совершенно, казалось бы, невозможные вещи — надо только не смотреть никому в глаза и делать свое дело спокойно, без спешки, будто так и надо. Тогда проходит. Я для страховки еще притворялся немым, и если были какие вопросы,—мычал и закатывал глаза. На чувствительных людей это оказывало шоковое воздействие, может быть, сказывалась наша исконная жалость к несчастным. Вот так в Керчи я первый раз вошел в столовую, и меня тогда вправду трясло, а глаза сами закатывались со страху. И ничего! Никто и слова не сказал, когда я сгреб в рюкзак кусков десять черняшки. А может, просто подумали, что так и надо, что я беру то, что вообще нельзя продавать за деньги, что должно принадлежать человеку бесплатно, как воздух, солнце, вода.

Я вошел в буфет, глядя сквозь прилавок, и на ближайшем же столике увидел надкушенную булочку. Я деловито подошел, взял ее и запустил зубы в белую мякоть, давясь и почти не жуя. На меня никто не обращал внимания. Но если уж начался день с невезухи, то она тебя будет весь день преследовать. За соседним столиком стояла женщина, по виду деревенская, в телогрейке, кирзовых сапогах и теплом платке. Она за-

мерла, открыв рот, и перестала укладывать в свою торбочку купленные, видимо, в дорогу, продукты. Наверно, ее испугали мои подведенные тепловозной гарью глаза, которые смотрели сквозь нее мертво, как пуговицы.

Я глотал, глотал, а она стояла, все так же держа в одной руке торбочку, а в другой бутылку кефира. Я спохватился, что вовсе не обязательно есть тут, можно и выйти, сгреб булку, еще какой-то огрызок, сунул в карман и пошел к выходу.

— Эй, паренек!

Я вжался затылком в плечи и пошел быстрее. Но бежать в таких случаях нельзя.

— Хлопец!

Я выскочил в двери и вильнул вправо, к углу.

— Да погоди ты, трясця твоей матери!

Я оглянулся и остановился. Тетка в телогрейке вперевалку спешила за мной, нагнувшись и руками прижимая к груди какую-то снедь. Она подбежала и стала совать мне то, что держала: две булки и плавленый сырок.

— На-ка вот, возьми, поешь. Возьми же, кому говорю!

Она говорила это сердито и отрывисто, глядя куда-то в сторону и хмурясь. Говорила и совала мне булки в карман. Я что-то промямлил, она сердито махнула рукой и, так же переваливаясь на коротких ногах, убежала назад, видимо, опасаясь за торбочку.

Я быстро пошел от вокзала и прямо на ходу съел одну булку с половиной сырка, потом вторую, со второй половинкой. За площадью в темноте отыскался сквер, и я сел на скамейку отдохнуть. Я подумал, что сегодня все шло в полоску и каждая сволочь чередовалась с человеком, который принял во мне участие. Сначала этот хилый придурок Адам, — потом сержант Сидоренко, этот дядя из столовой, которого я хотел убить, — и вот женщина... Я думал только о сегодняшнем дне, не вспоминая даже о вчерашнем: во-первых, потому, что там тоже была милиция и тоже был дядя из столовой, а, во-вторых, потому, что все люди оттуда были уже как бы в далеком прошлом и ничего мне не обещали и ничем не грозили оттуда. Да и какой смысл в одном хорошем человеке, если он нужен на каждый день, на всю жизнь? А когда такой человек тебе долго не встречает-

ся, начинаешь злиться и ничего уже не можешь ценить. Я никому не мог отдать дань, потому что два сырка и булочка — это мало, это было очень мало в сравнении с тем, что мне предстояло. Я не имел права раскисать по таким пустякам. Я воспринимал все более или менее спокойно, зная, что жизнь идет так, как ей надо, а мне надо по ней пройти до самого дома, пройти и ни за что не зацепиться, а уже там видно будет... Что будет видно, я не знал, но того, что во мне было, — одного лишь тупого упорства — мне сейчас хватало. Я не мог восхищаться добром и ужасаться злу, потому что мне постоянно приходилось приспосабливаться к обстоятельствам, во мне шел какой-то незаметный размен, подчиненный не слабеньким моим представлениям о жизни, а чему-то более могучему, мощному, — быть может, чувству самосохранения. Это было очень опасно, я начинал терять грань между тем, что есть добро вообще и добро для меня, что можно, а чего нельзя. Если бы я умел воровать, я бы, наверное, воровал, хотя бы для того, чтобы облегчить себе дорогу. Но что-то меня удерживало от этого, может, все то же мальчишеское самолюбие или боязнь — не знаю.

Я сидел на скамейке под тополями, обняв рюкзак, блаженно чувствуя, как от съеденных булочек расходится по телу тепло, во мне словно бы что-то тлело, я сам себе казался остывшей печкой, которую вдруг растопили. Потом спохватился, что надо же ехать, и пошел за станцию, к запасным путям. Часа два протолкался там без толку. К полуночи воздух опять остекленел, небо спустилось на землю, и я ходил по нему в кедах, мерз и жалел, что природа не построила над нами крыши, где могли бы скапливаться дневные испарения. Честное слово, по ночам иногда становится страшно от того, что над тобой. Вот светит Медведица, она бесконечно далеко, а между тобой и ею ничего нет, и хочется вцепиться в бурьян, в скамейку, потому что кажется — вот-вот она тебя отбросит и потом попробуй доплыви. Может быть, птицы улетают туда ночевать, это вовсе не кажется невозможным.

Прошли два товарняка, прошли не тормозя, оба на Волгоград, потом подошел пассажирский и вытянул с вокзала людей. Он прогрохотал, светя окнами, и я подумал, что сегодня ждать больше нечего.

Я ушел к домам на другом конце площади и стал

искать дверь в какой-нибудь подвал. Все они были заперты, но в одном месте оконце было выбито, и я ужом проскользнул туда. Темнота была черная, пыльная, но ориентироваться, когда привыкли глаза, было все-таки можно. Я закашлялся, и тут в углу что-то зашуршало, забилось, я оледенел от страха, — казалось, там, в углу, бьется крыльями какая-то большая хищная птица. Я стоял, боясь двинуться, а в углу все шуршало, и я тихонько полез назад, в окно, но то ли от страха, то ли от слабости сорвался, упал, мне даже показалось, что меня сдернули, я заорал и залягал ногами, отгоняя эту густую шелестящую темноту, которая тыкалась в меня носом, как большая черная собака, а в углу птица забилась еще громче. Вспыхнула спичка, и я увидел низкорослого старичка в осеннем потертом пальто, кирзовых сапогах и кепке. Он испуганно смотрел на меня голубенькими глазами и свободной правой рукой делал какие-то мелкие движения, то ли отпихивая кого-то, то ли крестясь. Спичка потухла, он торопливо зажег новую, и морщины на его лбу облегченно опустились и натянутый нос как бы размяк. За ним я увидел старый, выброшенный диван и большой кусок оберточной бумаги, она-то, видимо, и шуршала. Я сразу понял, что это за дед, в темноте подошел к нему и молча сел на диван, как бы сразу закрепляя за собой право молодого и сильного. Мне хотелось спать, и я готов был скандалить, если дед начнет ерепениться. Но он ничего не сказал, только шмыгнул носом.

— Напугался, — пробормотал он, продолжая глядеть на меня все еще испуганными, но уже повеселевшими глазами, — подумал: нечистая сила...

— Чего пугаться-то? — спросил я, давая понять, что я человек мирный и в одном с ним положении.

— Ну, мало ли, — уклончиво сказал он и сел рядом со мной.

Я вдруг вспомнил, что где-то уже видел его, в Ростове, что ли...

— С вокзала согнали? — спросил старик, понимающе на меня поглядывая при свете спички, от которой прикуривал окурок.

— Сам не иду.

— Чего так?

— Утром только вышел.

— Ну да, — сказал он неопределенно. — А куда едешь?

— Далеко. На Дальний Восток. А ты?

— Я за пензией еду, на Урал, — охотно ответил дед.

Я хотел спросить, как же он попал сюда, совсем в другую сторону, если едет на Урал, но промолчал. Мало ли как и куда люди попадают, я-то ведь тоже промахнулся.

— Я тебя в Ростове видел, — сказал я, — ты в ларьке бутылки сдавал.

Он радостно закопошился и, опять осветив меня спичкой, сморщил личико в улыбке:

— То-то я думаю, знакомый! Ты как в окно полез, я сразу признал.

— А чего ж копошился?

— Думал, поймет, что место занято, да и уйдет. Ну да хорошо, а то одному все ж таки жутко.

— Как ехать думаешь? На товарном?

— Не-е, — почему-то испугался он, — я в общем вагоне хочу уехать, с Таганрога так еду.

— И пускают?

— Где как. Когда и пускают... Ну что? — сказал он, помолчав, — будем спать, что ли?

Я подвинулся, освобождая ему место. Он залез на диван и блаженно закряхтел, завозился, укрываясь бумагой, и красная точка папироски у него во рту запыхтела, соря искрами.

— Хошь покурить? — спросил он. — На вот.

Я взял бычок и затянулся. Дня три я уже не курил, не тянуло, и сейчас же темнота закружилась вокруг меня каруселью, голова стала тяжелой, летучей, и я локтями нащупал колени, — для устойчивости.

Дед возился, бормоча что-то вроде: «Утро вечера...» Темнота обнимала меня, и, как всегда ночью, особенно остро стало чувствоваться одиночество. И я... и дед... и все мы... Что же такое с нами происходит? Мне стало жалко старичка и захотелось сказать ему, что глаза у него, как у моего деда, — такие же наивные, выцветшие, беззлобные. Такими глаза становятся к старости у тех людей, кто в жизни не знал никому отказа и со всем мирился. Они ходят и смотрят на нас своими наивными глазами, едут на Урал за пенсией и сдают в киосках пустые бутылки. Но что тут можно

сделать, если тебя за ухо выволакивает из столовой громогласная, насквозь правильная сволочь, которой ничего не докажешь? Мне хотелось заплакать и сказать деду, что мы все равно победим, мы, а не они, но он уже похрапывал, пуская носом свист. Я бросил окурок и тоже лег, укрывшись бумагой, которая пахла пылью и кошачьим дерьмом. Мне нельзя было раскисать, и я стал прикидывать свой дальнейший маршрут, а когда голова перестала кружиться, уснул.

К утру я замерз и вертелся на диване под бумагой, а дед все храпел себе. В конце концов я встал и разбудил его — в окно уже лился серенький рассвет. Он вскочил и сел, ошалело моргая и складками собрав кожу на лбу, отчего все лицо его казалось оттянутым кверху, изумленным.

Мы долго отряхивались от пыли, потом я выглянул в окошко, огляделся, вылез и помог деду выбраться.

— Сейчас на базар пойдем, — сказал он уверенно. — Как раз съезжаться начинают все, поможем мешки сгружать, гляди — заплатят.

Он уверенно повел меня улочками, сворачивая то в одну, то в другую, и я даже зауважал его за эту уверенность, как вообще уважал всех людей, знающих и умеющих больше, чем я сам.

— Тут такие приезжают, ого-го! — оживленно сказал он, когда мы увидели беленую арку с надписью «Рынок». — Я тут уже третий день кормлюсь.

Мы вошли под арку, и дед завертел головой во все стороны. Он был взъерошенный, маленький и шустрый, как воробей.

Базар был еще пуст, только в дальнем конце стояла машина, доверху закиданная мешками с картошкой, и у входа возил метлой дворник. Увидев машину с горбом мешков, на которой кто-то сидел, дед глянул на меня, как мне показалось, со страхом, потом сказал:

— Ну ничего, все ж таки нас двое...

А я подумал, что, как ни крути, стоимость работы зависит от ее объема и что это только поначалу страшно, а потом — ничего. Мы пошли туда, и я сразу увидел сидевших на пустом прилавке трех мужиков. Вид у них был утренний, небритый и мрачный. Их, видимо, мучила неутолимая жажда. Они сидели и курили, о чем-то сумрачно переговариваясь. Мне они сразу по-

чему-то не понравились, может, потому, что пришлось бы работать у них на глазах, а это всегда неприятно. Дед тоже на них глянул, и в его глазах опять поплыла та растерянная наивная голубизна, из-за которой хотелось его пожалеть. И это мне тоже не понравилось.

На мешках — теперь-то уж я точно рассмотрел, что это картошка, — лежал толстый дядя, одетый по-дорожному плотно и немарко. Под распахнутой телогрейкой у него была солдатская гимнастерка. Время от времени он задирал ее и, блаженно кряхтя, почесывал розовый хирургический шрам на круглом волосатом животе. Дядя с хрустом жрал здоровенный ломоть арбуза, жрал вместе с семенами, как лошадь, еще и корку, наверно, прихватывал, и хруст стоял такой, что я даже зажмурился и у меня заныл запломбированный зуб.

Неподалеку возилась с весами старушка. Она взяла ведро и подошла к машине, что-то прошелестев толстому. Тот скривился:

— Ой, мама, та сидить вы! Или вы хотите, чтоб у вас руки отсохли?

Старушка опять что-то прошелестела.

— Що? — сказал он, поглядев в сторону мужиков, сидящих на прилавке, и смачно сплюнул. — Они вам наробят! — И опять захрустел арбузом.

Тут дед встал перед ним, сняв кепку, и его глаза голубовато засквозили.

— Що? — сказал толстый и приподнялся на мешках. — Разгружать?

Он окинул взглядом меня, потом деда, прищурив глаза в удивленной насмешке, потом почесал шрам, вздохнул и равнодушно сказал:

— Тры рубля. — В его голосе было: «От, добри люды! И що воны уси метушаться?»

Дед испуганно на меня оглянулся, и я кивнул ему. Я тоже думал, что он даст хотя бы пятерку, но тут выбирать не приходилось, и мужики меня сильно беспокоили: они все время поглядывали на нас.

— Я наверх полезу, а ты будешь таскать, — зашептал мне дед. — По очереди будем таскать!

— Що? Согласны? — крикнул дядя и отшвырнул обглоданную корку. — А то тут много всяких разных ходит!

Он опять поглядел на мужиков. Мужики угрюмо

наблюдали за нами, и под их взглядами было неуютно. Дед уже залез в машину и навалил на борт первый мешок.

— Ну ты что? Давай!.. — почему-то опять шепотом сказал он мне.

Мешки из кузова выпирали горбом, и у меня противно заныло в животе. Я подставил плечо, и когда первый мешок лег на него, мне захотелось поставить его на землю, сесть рядом, обнять и смотреть в синее небо, пока там не покажется луна.

Я прошел с мешком между рядами и свалил его у ног бабки. Она что-то шелестела, но что мне было до нее. Без мешка стало очень легко, и я был как бы невесом и покачивался. Второй мешок выжал из меня остатки воздуха, и я побежал с ним, боясь задохнуться. Я свалил его рядом с первым и сел на прилавок. Меня занимала мысль — чего это бабка вздумала торговать посреди ряда, когда с краю место свободно. Дед не дал мне додумать, он опять зашептал, закричал шепотом:

— Ну что ты? А? Давай!..

Дядя стоял на мешках, поддергивая штаны, и с усмешкой глядел на меня, морща густые брови.

Когда я приволок третий мешок, старушка смотрела на меня такими глазами, что мне захотелось спросить, почему она меня боится. Я пошел к машине и встал, ожидая, когда мешок упадет на меня сверху, чтобы уже не вставать, а лежать и размышлять об этом странном обстоятельстве. И точно, мешок упал, за ним я. Я лежал и смотрел в осеннее небо, в котором плыли белые облака, и думал что-то вроде — да на кой нам эти три рубля, когда есть это синее небо? Потом встал и попытался взвалить мешок на плечо. Мешок не поддавался, и я сел на него, шаря по карманам папиросы, будто решил устроить перекур; я забыл, что никаких папирос там нет. Дед слез с машины и, стоя рядом со мной, виновато посматривал на дядю.

— Що? — спросил тот, перевесившись через борт.— Руку ушиб?

— Не, — сказал я, — перекур.

Дед что-то виновато говорил ему, но я не слышал, я плавал в блаженстве свободного от тяжести воздуха. Дед наклонился и опять зашептал:

— Вдвоем будем таскать, а он подавать будет! Ты

вставай, не расхолаживайся, а то потом тяжелей будет.

— Ой чтоб ему провалиться! — неожиданно запел дядя, рывком вскидывая на борт первый мешок. — Чтоб на том свете тебе ту картошку в горло запхали!

Непонятно было, к кому это он обращается. Он ругался и богохульствовал, вскидывая мешки, а мы с дедом таскали их.

Мы разгрузили уже примерно треть кузова, когда к нам подошел один из той троицы.

— За сколько подрядились? — спросил он, сощурившись и отводя глаза в сторону, и по его лицу бродила какая-то неустойчивая усмешка.

— Три рубля, — сказал я.

Он хмыкнул и отошел. Я сразу почувствовал опасность и бросил мешок.

— Таскай, таскай! — зашептал дед, глядя на меня расширенными голубыми глазами и пригибая голову. Он как бы прятался за мешок, как прячется в снег пугливая птица, почуяв опасность.

Мужики встали с прилавка и неторопливо подошли к машине. Двое встали у борта, не дав нам принять мешок, а третий полез в кузов. Они даже не глядели на нас. Стояли себе и покуривали. Тот, наверху, что-то сказал дяде, и тот застонал:

— Ой, боже ж мой, да я б сам зубами их тягал, если б мне кто столько заплатил!

— Тогда до обеда будешь стоять, — жестко сказал мужик в кузове, и дядя, смирившись, полез в карман.

Мужик спрыгнул с кузова и что-то сказал напарникам. Те заулыбались, потом один показал на нас, и мужик, который торговался в кузове, глянув на нас светлыми сощуренными глазами, подошел и стал смотреть деду в глаза, не моргая. Дед закряхтел и зачем-то снял фуражку.

— На, — сказал светлоглазый и что-то сунул деду в ладонь. — И давайте топайте отсюда!

Дед что-то забормотал, но светлоглазый, не слушая, отошел и прыгнул в кузов. Он подавал мешки, а двое других таскали.

— Ну, — спросил я шепотом, — сколько дали?

Дед повернулся ко мне, разжал ладонь и показал рублевую бумажку.

Я сжал зубы и пошел прочь с базара, меня подпирало какое-то безнадежно-тоскливое ощущение безвы-

ходности. Ты тычешься то туда, то сюда, мельтешишь, бегаешь, взмахиваешь руками, а кто-то усмешливо смотрит тебе в спину, как бы говоря: «Ну, ну!» И вот ты крутишься, бежишь, высунув язык, садишься передохнуть, и оказывается, что ты не сдвинулся с места. Я шагал к вокзалу, не оглядываясь, проникаясь запоздалой решимостью. Хватит суетиться! Моя главная задача — ехать. Я должен уехать, иначе пропаду. Нельзя больше двух суток мелькать на одной станции, тем более маленькой. Вот сейчас пойду прямо на вокзал и буду ждать поезда. Что мне милиция и проверка документов, чего я боюсь? Паспорт при мне, а то, что я грязный и без копейки в кармане, так это не преступление. Правда, если опять поведут в отделение, то скоро уже не отпустят, запросы начнут делать, выяснять, сказал же лейтенант, чтоб в двадцать четыре часа... Он, наверно, не столько пожалел меня, сколько не захотел возиться, бумаги из-за пустяка двигать.

Дед семенил за мной следом, не приближаясь. Он шмыгал носом, кряхтел, — наверно, чувствовал себя виноватым. Все-таки пожилой, повидавший человек — и так накололся с этой картошкой! И мужики тоже гады хорошие, не сразу подошли, а когда мы уже почти половину выкинули!

Я прошел в зал ожидания и сел. Дед устроился рядом. Он часто моргал, кряхтел и вскользь поглядывал на меня, тоже переживая. Потом засуетился, зашарил по карманам и показал мне какой-то узелок.

— Видал? — сказал он таинственно.

— Чего там у тебя?

Он закряхтел и стал развязывать. В узелке оказалась стопка картонных железнодорожных билетов. Он показывал их, явно любуясь своей коллекцией, как мальчишка марками или наклейками от спичечных коробков. Он, наверно, на всех станциях их собирал.

— Ты что, с таким билетом хочешь в плацкартный вагон сесть или прямо в купейный?

Он вильнул глазами и, придвинувшись ко мне, горячо зашептал:

— Ты не смотри, что использованные, с ними на любой поезд можно сесть, в общий вагон если. Я так ездил! Думаешь, они проверяют? Они не смотрят, какой он, лишь бы билет в руках был! — Он оглядел меня и вздохнул: — Вот только был бы ты почище

одет, а то на цыгана смахиваешь. Может, тебе помыться, а?

Я покачал головой. Разве эту тепловозную гарь отмоешь?.. Он что-то промычал и опять уставился на билеты, поглаживая их пальцами.

Через два часа подошел волгоградский поезд. У общего вагона столпился народ, все лезли в узкие двери с сумками, мешками и галдели. Мы стояли за киоском «Союзпечати», дед нервно курил и все кряхтел.

— Давай ты один сначала, — сказал я. — Если пропустят, я за тобой следом.

Он дал мне картонный прямоугольник и рысцой побежал к вагону.

Я чувствовал, что ничего у нас не выйдет. Проводница, несмотря на дедовы заверения, проверяла билеты. Дед затесался в толпу, потом его кепка мелькнула у самых дверей, проводница взяла у него билет и тут же вернула. Дед ошалело оглянулся на меня из тамбура и махнул рукой, — мол: «Давай!». Я вышел из-за киоска, и тут понял, что мне уже не сесть. Толчея схлынула, у дверей стояло человек пять, да еще трое курили. Мне показалось, что все они смотрят на меня. Так, наверно, и было, — я был грязен, закопчен, в рваных штанах и волосы у меня были до плеч.

Я остановился на перроне, собираясь с духом и изображая полное безразличие, мол, просто гуляю себе, а поезд мне ваш до фени.

Трое куривших мужиков откровенно разглядывали меня.

— Вшей, видать, целый зоопарк, — сказал один.

— Погорельцы! — хмыкнула проводница. — Сами себя мордуют, чего-то доказать хочут.

— У них и бог вшивый! — сказал кто-то из мужиков, и они дружно расхохотались.

До меня дошло, что это они про Шиву, и я даже удивился — откуда знают? Шел семьдесят шестой год, одичалые стайки хиппи бродили по югу и Черноморскому побережью. Я прогуливался по перрону шаркающей походкой и тосковал, глядя на эти вагоны. В любом можно было бы завалиться на третью полку и спать, спать! Потом в одном из окон я увидел деда. Он делал мне знаки и махал руками, как дирижер. Я развел руками. Он перестал махать и ошалело уставился на меня, собрав на лбу кожу.

Тепловоз гуднул, объявили отправление, проводница загнала мужиков в вагон, поднялась в тамбур и высвесилась оттуда с флажком. Состав медленно тронулся и тихо поплыл мимо меня. Я проводил его и потом ушел за пути, на свалку, где среди бурьяна валялись проржавевшие остовы машин, разбитые бетонные конструкции, железные бочки и разный хлам. В поросшем жесткой осокой бочажке с ржавой водой, встав на колени, я увидел свое черное лицо на самом дне и не стал умываться. Бочажок был похож на черный глаз. Солнце разлилось вокруг, воздух горел и тек, осенняя трава казалась сожженной, к металлу было больно прикоснуться, над искореженными конструкциями стояли ореолы, а там, за свалкой, за кладбищем металла, начиналась степь. Ближе она была еще в выбоинах и канавах, а дальше выравнивалась однообразным строем ковыля и мягкими складками уходила далеко-далеко, к половецким курганам.

Я сидел, привалясь спиной к бетону и опустив ноги в бочажок, лицом к степи, слышал запах тлеющего железа, и мне казалось, что жесткая трава растет сквозь меня, что я уже умер, тело мое умерло, устав поддерживать жизнь, и трава забирает меня к себе в иное состояние, где не надо мучиться всем человеческим.

Голова болела, точно на нее поставили громадный и жаркий груз, потом, в полусне, начался бред. Мерещились черемухи и поезда дальнего следования, а когда я открыл глаза, то увидел скифскую конницу с колыхающимися на пиках хвостами, но это была не конница, а просто табун, и острые верхушки бурьяна я принял за пики.

Надо было спасаться от бездействия, оно во много раз хуже голода, и я потащился в поселок.

Я шел мимо водокачки, высоко, как журавль, поднимая ноги, и не знал, почему я это делаю.

Над станцией возникал нудный звук, будто вибрировала двуручная пила, застрявшая в сыром бревне... Возникал и пропадал. И опять: «З-з-з-з-ув!..» Я поднял голову и посмотрел в небо, пытаясь понять, откуда идет это? Пространство вокруг было заполнено приглушенным дневным гулом, в котором все звуки слиты. А пила опять зазвучала: «З-з-з...» Я вдруг понял, в чем дело, испугался и, прикрывая ладонью го-

лову, побежал в кусты, в тень. Со стороны, наверно, это походило на бред — я бежал, виляя и высоко вскидывая колени, заваливаясь на спину. И уже под кустами хлопнулся, и тяжелая тошнота накрыла голову звенящим колпаком. Это был первый в моей жизни солнечный удар.

Я отлежался в тени, свернул пилотку из старой газеты и пошел пыльной улочкой, заглядывая во дворы. Меня еще слегка покачивало, и я бродил чисто автоматически. Ведь надо было что-то делать! Чувствовал я себя скверно и время от времени, не обращая внимания на удивленные взгляды, высовывал язык по-собачьи, чтобы удалить из себя остатки перегрева.

В каком-то из дворов я увидел развешенное белье и старуху, которая с ним возилась. У меня возникла идея, я свернул и встал у штакетника, ожидая, когда она меня заметит. Она замерла с простыней в руках, настороженно на меня глядя.

— Бабка, я тебе дров наколю, — сказал я. — Или еще что-нибудь сделаю...

Она боком ушла к крыльцу, не отрывая от меня глаз, и исчезла в доме. Сейчас чего-нибудь вынесет... У меня загодя запершило в горле от слезливой благодарности и умиления, в своем воображении я уже сидел за столом и хлебал ароматный борщ, а бабка, подперев кулаком голову, слушала про то, какой я несчастный.

Из дверей однако же вышла не бабка, а полуголый парень. Что-то дожевывая на ходу и поддернув сползающие брюки, он сбежал с крыльца. По его решительному хмурому лицу я догадался, что сейчас будет, и быстро пошел прочь. Потом оглянулся. Он не стал меня догонять, просто стоял у калитки, все так же двигая крепкими челюстями, поддергивал брюки и смотрел мне вслед.

Я бродил по станции до самого вечера, спал на ходу, и стоило мне закрыть глаза — видел скифскую конницу. Она текла мимо поселка позвякивающим цветным потоком, я видел смуглые лица воинов с подсохшей на висках солью, медный блеск лат и слышал конский храп, цветные бунчуки колыхались над лошадиными спинами и степная пыль шлейфом тянулась из-под копыт. В этой картине было что-то важное, что-то необходимое мне. Стоило мне присесть в тени, закрыть глаза — и я опять видел лоснящуюся шкуру войска, которая пе-

реползала через мягкие складки бесконечной земли, вдруг возникала в серебристых ковылях темным прогалом, оттуда несся терпкий запах лошадиного пота, крови, железа и шкур, и можно было вообразить, что я всего лишь добровольный изгнанник, что стоит мне сделать шаг — и я тоже окажусь в седле, среди них, за мной поплывет земля в серебристом качании и я тоже буду мерять простор от звезд до солнца, кружить во времени и видеть над собой блеск копья.

То ли от этих видений, то ли оттого, что мне надоело ходить среди настороженных человеческих взглядов бродячей собакой, я ушел в степь. Когда начало темнеть, пошел на север, вдоль путей, и на первом километре мне что-то шептала, а может, и не мне. Земля была ции пешком, но потом запал иссяк, я свернул в сторону, прошел еще немного, бросил рюкзак и сел в бурьян.

Он скрывал меня с головой и терпко пах. Сухие стебли шевелились, тихонько постукивали друг о друга, и от этого шел по степи неумолчный шорох, будто она мне что-то шептали, а может, и не мне. Земля была теплая, прогретая, я лег и закрыл глаза. Это была очень старая земля, не та, что в поселке — развороченная, растоптанная в грязь. Это была старая, сухая, теплая, даже на ощупь теплая добрая земля, которая давно пережила сама себя и стала чем-то иным, чем-то похожим на плоть. Она была плотная, но мягкая, как одно большое упругое тело, и дышала. Я чувствовал это спиной, засыпая и согреваясь. Я еще успел подумать, что это земля мне неизвестна, она какой-то другой породы. Ведь что она такое? Ее пашут, рвут плугами, и это кажется нормальным. Но здесь, в степи, мне стало казаться, что земля должна быть именно такой, как эта. Чтоб можно было лечь, прижаться к ней спиной и согреться.

Во сне меня кто-то дернул за ногу, вдруг показалось, что это опять Сидоренко, что он меня и тут отыскал, и я вскочил.

Низко висели звезды, шуршал бурьян. Черная собака, ворча, тянула меня зубами за штанину. Я испугался, крикнул на нее и пнул ногой. Она отбежала, залаяла, потом присела и, задрав морду, завыла. Я кинул в нее стеблем бурьяна, вырвав его из земли с корнем, она отпрыгнула и обежала меня кругом. Я не знал, чего она хочет, и лихорадочно стал выцарапы-

вать из рюкзака нож. Она осторожно подошла поближе, опять залаяла на меня и заскулила, а потом легла, положив морду на лапы. Я успокоился и понял, что ничего плохого она не замышляет, а просто ее кто-то выгнал, она соскучилась по людям здесь, в степи, и хотела меня разбудить.

Потом она опять завыла, я закричал на нее, она постояла и убежала. Бурьян шуршал где-то рядом, шорох обошел меня кругом и стал удаляться. Я лег, но уже не смог уснуть. Звезды тускнели, к утру стало холодно и выпала роса.

...Казалось, какая-то целенаправленная злая сила держала меня на привязи вот уже третьи сутки. Утро-вечер, утро-вечер, солнце по кругу, и все тот же вокзал в облупившейся вылинявшей краске, или, может быть, в самом названии «Филоново» есть намек на некую ленивую тягомотину, на безалаберность, которая даже в безбилетном проезде на товарных поездах дает себя знать?

Опять висело над степью в белесом, вылинявшем к осени небе тусклое, горячее солнце и однообразно, без порывов дул ветер. Было ощущение, что движется разом весь воздух, и это неторопливое движение рождало ровный, на одной ноте, гул.

Я сидел в скверике, на скамье, где-то в листве надо мною орал громкоговоритель, из него неслись то песни, то марши, он хрипел, стонал и захлебывался, потому что даже железо, видимо, не могло снести напора этой бездумно пузырящейся радости, казалось, это летят сюда, на захудалую, потерявшуюся в степи станцию, отголоски далекого праздника, которого никому из нас никогда не узнать. Громкоговоритель вдруг начинал гнусаво фонить, забивая гудом пространство, и казалось, что в голове у тебя коловоротом вертят дыру. Я потерял время в своих засыпаниях и забыл, сколько я здесь нахожусь. Я еще посидел, послушал песню, которая рвано неслась из репродуктора, и пошел искать сержанта Сидоренко. Момент настал, я уже не представлял, как мне иначе отсюда уехать, пусть хотя бы до ближайшей большой станции, где много народу и поездов.

Бессознательно я старался идти другой дорогой, по другим улочкам, мне казалось, что, может быть, где-то на незнакомой мне улочке караулит удача, ведь всегда надеешься на лучшее, а где ж ему быть, как не там,

где ты еще не был. Но улочки все были похожи одна на другую, все на одно лицо, с собачьим лаем, черемухами, тополями, разрытыми трубами и неторопливо бредущими по своим делам одинокими прохожими. И, как обычно, висели всякие красочные плакаты, на которых белозубые мужчины и женщины предлагали страховать свою жизнь, отдыхать в Крыму и летать самолетами «Аэрофлота», — в этой пыли и скуке под провисшими проводами они казались жителями каких-то других миров. Но я все время помнил про степь вокруг поселка, про бесконечное шевеление рыжей травы и размытый горизонт, за которым ничего не было видно. Я старался вспоминать о скифской коннице, которая кружит вокруг поселка, и от этого становилось легче.

Забор вокруг отделения был высокий, глухой, выкрашенный какой-то грязноватой краской, — и я не пошел в отделение, а стал кружить вокруг. Я надеялся — чем черт не шутит? — встретить Сидоренко на нейтральной территории, чтоб он мне козырнул и сказал: «А-а, явился-таки, а что я тебе говорил!» И я сразу рассказал бы ему про столовую, и про деда, и про базар, и мы бы вошли во двор отделения как добрые знакомые. Сидоренко, несмотря на свое сержантское звание, почему-то казался мне здесь главным, — будто он только снисходительно притворяется подчиненным, а на самом деле всем здесь заправляет.

В одном месте к забору примыкали чьи-то гаражи, между ними и забором было пространство, захламленное досками, ящиками и прочим сором, а на крыши свисали ветви деревьев. Я проскользнул туда и уселся на крыше, с которой можно было наблюдать за двором отделения, оставаясь незамеченным. Из дверей то и дело выходили люди в форме, в окно видно было, как они там, в дежурке, о чем-то разговаривают и смеются, но за столом сидел не лейтенант, а кто-то другой, Сидоренко не было видно. Я сидел долго, но его все не было. Два дружинника привели цыганку. Она осыпала их бранью, потом начала голосить, перестала и льстиво принялась уговаривать дружинников и расхваливать их—какие они молодые и красивые. Они смеялись. Цыганка посулила ворожбой лишить их счастья в семейной жизни и мужского достоинства, дружинники захохотали и потащили ее в дверь. Она царапалась,

кричала, мимоходом доставая из-под юбки какие-то пакеты и разбрасывая их по двору: наверно, в пакетах было что-то запретное. Дверь за ними захлопнулась, потом один из дружинников вышел и собрал пакеты.

Сидоренко все не было, и я подумал, что скорее всего он сегодня отдыхает после работы в ночь и торчать на крыше бессмысленно.

Остаток дня я провел за поселком, в степи. Лежал в бурьяне и смотрел, как колышатся надо мной метелки дикого овса и ковыльные пряди. Я не мог ни о чем думать, боялся сна, и он мешался с явью, и где-то близко текли в пыли бесконечные копыта, достаточно было поднять голову, чтобы опять увидеть череду прокаленных солнцем лиц и блеск железа.

К вечеру я пошел на станцию и на улице, которая выходила к вокзалу, увидел у продуктового магазина машину, в которой перевозят хлеб. Грузчики в синих халатах таскали в магазин лотки с буханками. Даже через улицу я уловил запах свежеиспеченного хлеба. Горячие буханки еще дышали кисловатым духом опары, и запах этот встал в горле комом, распирая его.

Я перешел улицу и заходил вокруг машины кругами, потом сел неподалеку на корточки. У меня потекла слюна, я глотал ее, и она опять натекала. Не в силах терпеть, я подошел ближе.

— Хлебец ждешь? — спросил меня худой горбоносый грузчик.

Я кивнул.

Он поставил лоток на ящики у входа, взял буханку, оторвал зубами захрустевший угол, прожевал, потом быстро подошел к машине и кинул буханку на сиденье, а сам, подхватив лоток, исчез в дверях. Меня облило горячим потом. Я встал и медленно пошел вдоль машины, как бы гуляя. Проходя мимо кабины, привстал на цыпочки и заглянул. Буханка лежала на коричневом дерматине, и надкушенный край пушился пористой серовато̀й мякотью. Надо было только распахнуть дверь, схватить буханку и убежать. У меня затряслись руки, в голове загудело, но я никак не мог решиться, ходил мимо кабины взад-вперед и ждал, когда грузчики скроются в магазине оба. Но кто-нибудь из них обязательно оказывался у машины. Наверно, в тесноте магазина им было не развернуться и они ходили по очереди.

Наконец они кончили таскать. Один остался у машины и закурил, второй исчез в магазине. Потом он вышел вместе с шофером, они сели в машину и уехали. Выглянула продавщица в белом халате и захлопнула дверь.

Надо было уходить, а я все ходил взад и вперед вдоль задней стены магазина и заглядывал в окна, заставленные изнутри какими-то ящиками. Я последними словами ругал себя за нерешительность, но все ходил и ходил, чего-то вынюхивал, оглядывался, проверяя, нет ли кого поблизости. Я не понимал, зачем это делаю, как вообще многое перестал понимать в последнее время. Но если бы я много думал над тем, что не понимал, я бы никуда не уехал, а остался бы в Новороссийске без копейки денег. Однако мне многое удавалось и, не понимая, я все же доверял своим стихийным действиям, они меня выручали. И вот я ослеп, оглох, перестал что-нибудь воспринимать и о чем-либо думать, подошел к двери, еще раз оглянулся, потянул ее и она открылась. Если бы меня в этот момент окликнули, я бы, наверно, сам поразился тому, что делаю. Я вошел и тихонько прикрыл за собой дверь, как у себя дома. Я пошел на запах хлеба, который тек по коридору, перебивая вонь протухшей селедки и неистребимый мышиный запах. Здесь, в подсобке, никого не было, голос продавщицы слышался из-за стены, из зала, я шел как слепой к составленным друг на друга буханкам. Они высились на широком столе золотистым высоким прямоугольником. Очень спокойно я снял сверху одну и, держа ее под мышкой, пошел назад, мимо ящиков с конфетами и папиросами, мимо бочки с пожелтевшим сахаром.

Я вышел, прикрыл двери, и только пройдя несколько метров, очнулся от оцепенения и зачастил ногами, ожидая в спину окрика, пронизанного той злой радостью, с которой изобличают воров. Буханка грела подмышку, я подумал, что ее могут отнять у меня, побежал за угол и там отдышался, выглядывая. Я отрывал зубами куски хлеба и жевал, торопливо глотая и давясь. Почему-то подумалось вдруг, что эта буханка перепала мне не зря, что это не так себе — хлеб, а вроде поощрения и награды солдату за то, скажем, что он просто остался жив, уже сама эта живучесть требует награды. Я вдруг понял, что повис на хвосте у

удачи и надо действовать, теребить судьбу и тогда она подкинет мне еще один подарок — вроде товарняка на Поворино. В беде человек иногда бывает очень прозорлив и может отсчитывать свои ходы на много дней вперед, почти не ошибаясь. Казалось, чья-то сильная рука сама провела меня за шиворот в магазин и теперь, поощряя, давала подзатыльники, — давай, мол, сынок, давай, все, что было тебе на этой станции положено, ты выхлебал, бояться нечего, валяй до следующей!

В общем, что-то такое в моей голове мелькало. Может, я просто воспрянул от того, что у меня есть пища. Ведь буханка хлеба — это вам не коржик с маком, это день, а то и два, когда можно не заботиться о еде. Я съел треть буханки, все так же стоя за углом и поглядывая на двери магазина, потом развязал рюкзак, положил туда хлеб и пошел на вокзал. Я держал рюкзак под мышкой, меня мучил страх, что буханка вывалится в какую-нибудь дыру, испарится, и чувствовать ее боком было гораздо спокойнее.

Скоро подошел пассажирский поезд. Я помог пожилому мужчине перетаскать к автобусной остановке чемоданы, заработал на этом деле рубль и уже с полным правом пошел в буфет. Потом ушел на запасные пути, в уверенности, что поезд пойдет, куда мне надо, залез в первый попавшийся товарняк и уснул. Когда я проснулся, поезд шел, мимо катила розовеющая степь. Ехали мы на север, и я отпраздновал эту удачу, прикончив буханку.

Я ехал на электричках от одной крупной станции до другой, сдавал бутылки и покупал хлеб и папиросы, ни один контролер меня не ссадил, потому что я всем рассказывал свою грустную историю и у всех просил занять мне пятьдесят рублей на билет. Мне сочувствовали, отводили глаза и уходили сконфуженные.

Деда я встретил на одной станции под Златоустом. Я ввалился в двери и сразу увидел знакомую фигуру. Он стоял у окна и ел большое красное яблоко. Я подошел, хлопнул его по плечу, он обернулся ко мне стоячими глазами и тут же, узнав, заулыбался и стал ломать яблоко пополам. Я достал из рюкзака хлеб, мы поели и дальше поехали вместе.

В Челябинске уже лежал снег, и я отправил домой телеграмму, оставив в залог паспорт. Два дня я жил

на вокзале, а когда пришел перевод, мы накупили деду продуктов в дорогу, и я проводил его к электричке.

Много времени прошло с тех пор, все это кажется смешным, но иногда они видятся мне во сне: сержант Сидоренко, козыряющий мне на крыльце отделения, женщина с торбочкой, дед с большим крымским яблоком и скучная станция Филоново, вокруг которой — степь.

Человек, который любил Кафку

Субботняя тоска имеет свой цвет. Это цвет бесконечного времени, которое некуда деть, непривычной тишины на улицах и женского смеха под окнами. Когда-то, еще в студенчестве, я подрабатывал в местном театре осветителем и знал, что какой-то драматической ситуации должен соответствовать определенный цвет. Например, когда на сцене разыгрывалась драма с убийством, помощник режиссера махал мне рукой и я включал зловещий красный фонарь. Любовь у нас шла в неопределенном полумраке, под душераздирающую музыку. Может, поэтому я и не женился до сих пор: даже при взаимной симпатии мне частенько не хватает музыки. Некоторое время меня все это забавляло, я даже пробовал перевести в цвет свои эмоции. Например, захандрив, врубал в себе синий прожектор тихой лирики. И, знаете, иногда удавалось. Но сложность в том, что если окрасить свои чувства определенным цветом легко, то сделать наоборот гораздо сложнее, тут действуют какие-то непонятные законы. Вот суббота для меня окрашена почему-то желтым.

Терпеть не могу опавшие листья и субботу. Она выбивает меня из колеи. Казалось, можно хотя бы всласть выспаться. Ставишь будильник на десять, но без пятнадцати восемь уже вертишься в кровати с открытыми глазами, и оказывается, что весь твой недельный недосып спокойно втискивается в четверть часа, а привыкший к режиму организм издевается над твоим правом свободного человека делать что вздумается. Долгий завтрак. Шлепанье по квартире в ожидании почты, размышления на тему: куда себя деть? Я не люблю сидеть дома по выходным, часто начинают лезть в голову разные ненужные мысли, которые меня, человека без амбиций, давно с самим собой сжившегося, могут выбить из колеи и расстроить надолго.

Не то чтобы я считал себя неудачником, нет, я вполне устроен, работаю в проектном институте инженером-экономистом, зарплаты хватает, у меня своя, хоть и маленькая, квартира, что немаловажно. Годам к сорока поднимусь в завотделы, может, и в замы, так что нет никакого повода для самоедства. Просто после

тридцати лет, а может и раньше, из человека что-то уходит. Не могу вот так определить — что именно, этого поначалу не замечаешь, как не замечаешь в себе перемен, каждое утро бреясь у зеркала. После института думаешь только о работе, строишь какие-то планы, и общая неустроенность подкрепляет тебя в мысли, что все это — подготовка к чему-то главному, большому. Оно, это главное, похоже на утреннюю зарю, которая вот-вот поднимется. Время проходит, и все устраивается само собой. Находится жилье, денег теперь зарабатываешь побольше, со всеми перезнакомился, знаешь все выходы и входы, входишь во вкус внутренней жизни и внутренних сплетен. Нервотрепки поменьше, покоя побольше, и это — лучшее время, время большой работы, быстрых движений, время ресторанов и загородных поездок с приключениями. Тут важно точно втолкнуться в свое, целиком и полностью. Потому что потом что-то уходит, и, как бы взглянув на себя в зеркало, вдруг с изумлением замечаешь, что ты начал стареть, откуда-то взялись морщины и предательские залысины, проредив лихой чуб, неуклонно движутся к затылку. Вот тут ощущаешь, что что-то потерял. Чувство смутное, может быть, преждевременное. С человеком что-то случается. Он похож на того чудака, что стоит на тротуаре, мешая прохожим и, удивленно вскинув брови, хлопает себя по карманам. Вроде бы все на месте, а ему все кажется, что из кармана выпал бумажник. И ведь знает, что не брал он его с собой, но чувство потери такое явственное, что он волей-неволей начинает сомневаться: а вдруг...

По субботам стараюсь не сидеть дома. Брожу. Иногда захожу к знакомым. Для приключений у меня не та внешность — сослуживец говорит, что при моей физиономии лучше всего знакомиться с женщиной в темноте. Кино, реже — театр, шлянье по улицам, поездки в автобусе неизвестно куда.

Иногда заглядываю в библиотеку, не чаще двух раз в месяц. По правде говоря, я не великий любитель чтения, и чаще всего взятые книги так и пылятся на столе все две недели. Мне нравится ходить в библиотеку потому, что это, так сказать, акт приобщения к культуре. Сама атмосфера настраивает на определенный лад. Тихие голоса. Бесконечные стеллажи с рядами корешков. Я способен часами листать книги, пере-

брать их или просто стоять, читая названия. С выбором дело сложнее. Классикой я отравился в школе и с тех пор чинные ряды собраний сочинений вызывают у меня легкий трепет и желание, чтобы скорее прозвенел звонок. В будние дни я частенько занят очередной срочной работой. А то собрание какое-нибудь. И потом — хорошую книгу достать трудно. На одни — очередь, другие библиотекарши придерживают для своих постоянных читателей, у меня же лично никогда не хватало наглости вот так подойти и спросить что-нибудь этакое... Беру детективы, если удастся перехватить, или просто что под руку попадется, не уходить же так.

Я, кстати, подметил, что есть несколько типов читателей. Читатель «ярый», что-то вроде вечного студента-очкарика, который набирает три горы томов с мудреными названиями, читатель искушенный — тот, что бродит вдоль стеллажей с кислой миной всезнайки, и читатель случайный — вроде меня. Есть еще подтип читающей домохозяйки, которая, посмотрев многосерийный телевизионный фильм, бежит в библиотеку за первоисточником, отдельная группа любителей фантастики, группка книжных воров, прослойка барышень с мечтательными глазами, ну и так далее. Эти наблюдения придают моим посещениям библиотеки особый вкус.

Началось все с того, что пришла другая библиотекарша. Обычно я не замечаю ни билетеров, ни кассиров, ни продавщиц — это старая привычка смотреть на руки, не из страха, что обсчитают, а потому, что руки меня гипнотизируют. Прежняя библиотекарша, пожилая, несколько расплывшаяся женщина, была похожа на добрую сельскую повариху, руки у нее были как у поварихи — большие, красные и, наверно, мягкие.

Когда в очередную субботу я явился в библиотеку и, протоптавшись час, положил на стол две взятые в последний момент книжки, которые выбрал наугад, даже не глянув на названия, то с удивлением увидел тонкие бледные пальчики, слегка испачканные чернилами. Я удивленно поднял голову и на месте поварихи обнаружил довольно юное создание, худощавое, круглолицее, с маленьким носиком, сурово поджатым ртом и какими-то непреклонными глазами за толстыми стек-

лами очков. У нее были темные, гладко зачесанные назад волосы.

— У вас странный формуляр, — сказало создание с неуловимой усмешкой, чуть сморщив кожу в уголках бледного рта. — Не пойму. То Толстой, то детективчики, а зачем вам Кафка? Вы что, любите модернистов?

Это было сказано тоном все на свете читавшей отличницы, и я на мгновение растерялся. Какой такой Кафка?

Прокурорские глаза посмотрели на меня сквозь очки с явным презрением, и я вдруг вспомнил свою учительницу литературы. Я уже готов был вспылить: какого черта, в самом деле, что хочу, то и читаю! — но тут вдруг увидел себя ее глазами. Увидел запущенного, немолодого, плохо, по-субботнему выбритого холостяка с оторванной пуговицей на пиджаке и понял, что в ее глазах я в качестве читателя Кафки буду посмешищем. Я уловил вдруг, что мне не следует читать Кафку, я не тот тип человека, который, по ее мнению, может быть к этому допущен, и тут я, сам не знаю почему, понес вдруг околесицу. Перегнувшись через барьер и улыбнувшись, как бы приглашая ее в сообщники моего несчастья с этим самым Кафкой, сказал:

— Видите ли, в чем дело... Это я беру не себе. Меня попросил друг, он сам лежит со сломанной ногой, дает мне заказы, так сказать, он страстный книгочей, ну а я... — Тут я доверительно рассмеялся. — Знаете, говоря откровенно, сам я предпочитаю телевизор.

Она вскинула подбородок и слегка кивнула, точно говоря: «Этого и следовало ожидать». И круглым старательным почерком записала в формуляр: «Франц Кафка» и т. д., вплоть до года издания. Я уходил, неся в спине, как стрелу, ее насмешливый взгляд.

На улице я обругал себя последними словами. Так унизиться перед девчонкой! Подумаешь, фигура, все на свете читала, а попробовала бы она составить самый простенький проект! Да, я книг не читаю, но я работаю. В конце концов, некогда мне читать разных модернистов, пропади они пропадом!

Желчь кипела во мне до самого дома. Я швырнул книги на стеллаж, включил телевизор и тут подумал, что так выбирать книги тоже не дело. Можно и впросак попасть перед каким-нибудь самодовольным бездельником. Впрочем, скоро я позабыл это маленькое

происшествие, но она, как выяснилось, не забыла. Когда я в следующий раз притащился к столу с толстыми томами Томаса Манна, она встретила меня насмешливым взглядом:

— Опять для друга берете? Что это у вас? О, Манн! «Волшебная гора»! Ваш друг любит немецкоязычную литературу?

— Да, — буркнул я, — такой у него профиль — немецкоязычная литература.

«Какого черта я этого Манна взял? — подумал я про себя. — Прямо гипноз какой-то. Проклятая привычка выбирать книги не глядя!...»

— Он что — филолог?

— Да, кандидат наук. — Я разукрашивал «друга», как елку.

— И что он хотел бы почитать? — Широкие, не знающие сомнений глаза смотрели на меня в упор.

— Он жалуется, что в наших библиотеках книг, которые ему нужны, нет. Провинция, сами понимаете. То, что стоит у вас на полках, он прочитал еще студентом. — Я врал с мрачным вдохновением, это был своеобразный реванш за Кафку.

— Ну, знаете... — карандаш сердито описал дугу,— не скажите, у нас богатые фонды! Пусть ваш друг составит список, я постараюсь найти, что ему нужно. И знаете, что... — Она мгновение помолчала и твердо пристукнула карандашом по стеклу, — принесите мне этот список завтра, если вас не затруднит.

— Что ж, если так, я ему передам.

— Посмотрим, что за запросы у вашего кандидата наук.

«Боже, какой идиот...» Я ушел, церемонно раскланявшись, и всю ночь корпел над треклятым списком, попросив у соседа, сын которого учился в педагогическом институте, хрестоматию немецкой литературы. Я выписал неизвестные мне имена, рассудив: то, что на слуху у всех, кандидату не пристало. Часа в два ночи я вдруг очнулся и поразился: чего ради я этим занимаюсь? Ересь какая-то... Я подумал, что иногда человек попадает в нескончаемую цепь обстоятельств, где одно звено тянет за собой другое и можно так в этом запутаться, что потом не докопаешься до причин. Странное чувство насмешливого сожаления к самому себе охватило меня. Чем я занимаюсь, черт бы меня побрал! Нор-

мальные люди воспитывают детей, живут полной жизнью, а я корплю над чужим учебником, выписывая разных там Гофмансталей, Шамиссо, Клейстов, потому что боюсь, как бы высокомерная девчонка из районной библиотеки не посчитала меня дураком. А почему, в сущности, она должна меня считать дураком? Мистика какая-то! И так со мной всегда — сам себе выдумываю препятствия и потом бьюсь над их преодолением. Когда на самом деле все так просто!

Как бы там ни было, на следующий день я пришел с длинным списком немецких имен, для солидности напечатанных на машинке.

И провинциальная библиотека восторжествовала. Я ушел из нее, унося под мышкой томик Рильке на немецком языке и «Игру в бисер» Гессе. Кстати, и мне было указано, что я что-то редко прихожу менять книги, и если верить моим словам, что кандидат наук — страстный книгочей, то очевидно, что я сам отношусь к своим обязанностям халатно и это характеризует меня не лучшим образом. И я стал ходить в библиотеку через день. Меня все это начинало забавлять.

Как-то она спросила:

— А где ваш друг сломал ногу? Он что — пьет?

— Да что вы! — возмутился я. — Как можно! Он спортсмен, отчаянная голова, неудачно прыгнул с трамплина, знаете, эти водные лыжи... Как еще голову не свернул.

Еще через день у него появилось имя. Его зовут Сережей, этого кандидата на водных лыжах. Да, еще он интересуется именем девушки, которая подбирает ему книги.

— Зачем это? — легкая растерянность.

— Он просил узнать. Говорит, что такую эрудированную девушку не стыдно было бы пригласить на кафедру немецкой литературы.

— Это вы шутите. А он, что, ведет кафедру?

— Да, знаете, их профессор через год уходит на пенсию, и Сергею прочат его место.

— А не молод ли он для кафедры? — Легкая настороженность. — Сколько ему лет, вашему вундеркинду?

— Он чуть моложе меня, ровно тридцать. Что называется, из молодых, да ранний. Везучий. Я ему завидую, честно говоря. Так что передать?

— Скажите — Ира.

Собираясь в очередной раз в библиотеку, я вложил в книгу записку следующего содержания: «Уважаемая Ирина, простите, не знаю вашего отчества, поэтому обращаюсь к вам так фамильярно. Вы очень меня выручаете. Если бы не вы, право, не знал бы, что делать. В наше время редко встретишь девушку вашего склада, эрудированную и готовую помочь бескорыстно. Мой друг, который берет у вас книги для меня, много мне рассказывал о вас, как вы внимательны и чутки. Откровенно говоря, я завидую ему, но проклятая болезнь лишила меня возможности передвигаться, думаю, что ненадолго. С уважением, Сергей».

Я переписывал эту записку раз десять, подбирая достойный любителя Рильке стиль. Это был тонкий ход, надежда завоевать за счет друга расположение этой бесполой статуи, с которой, кстати, приятно было иногда поболтать. Правда, она избегала в разговоре со мной литературных тем, но, можно сказать, мы были уже на дружеской ноге за счет того, что тень моего незаурядного друга ложилась на меня знаком причастности. Десять раз переписывал я записку, добиваясь необходимого уровня грамотности, так чтобы не перло интеллектом изо всех щелей, но с долей галантности.

Эффект получился неожиданный. Едва раскрыв книгу, она захлопнула ее и отложила в сторону. Когда миновала растерянность, я вдруг понял: она не хочет, чтобы я видел записку. Я несколько опешил, не ожидая такого поворота. И в ее взгляде, особом, сравнивающем, прочел окончательный себе приговор. Конечно же! «Этот субъект так туп, что не способен понять, что такая холодная вежливость — способ издевательства. Бедный Сергей! И что он нашел в этом типе?» Вот что говорили ее глаза, провалиться мне на месте!

Началась странная игра. Сергей вырастал на глазах. Он знал три иностранных языка (на большее я не решился). Он учился в Лейпциге, по обмену студентами. Да, да, он любит иногда читать в подлиннике, но где взять? У него своя машина. И иногда я, простой смертный, удостаиваюсь чести съездить с ним по грибы (подношу корзины, вероятно). Студенты его обожают, прямо жить без него не могут. Целыми днями толпятся на лестничной площадке, приходится выгонять (вот это не в мою пользу). А что же я, в самом деле, целыми дня-

ми толкусь у него? Жена куда смотрит? А он не женат. Точнее, был, но не сошлись характерами, такая, знаете, бездушная стерва... Извините, вырвалось. Конечно, одному трудно, но он, знаете, разборчив, таких консервативных людей сейчас редко встретишь.... Красив ли он? Пожалуй, он не из тех, кого снимают для обложек «Экрана» (красавец-мужчина тут явно не нужен — у девочки может быть комплекс по поводу своей внешности). Он, скорее, обыкновенный. Да, простое лицо. Но в нем есть что-то своеобразное, такое... пожалуй, то, что мы определяем, как красоту души. Это ведь главное, верно?

Девочка начинает тихонько подкрашивать губы. Поскольку я туп, то ничего не должен замечать, кроме одного, — она внезапно похорошела. Очки, однако, на месте. Сильная близорукость или принципиально?

...Что же я это делаю? И зачем?

Мой друг висит надо мной, и избавиться от него уже невозможно, есть только один способ — исчезнуть. Но я не исчезаю. Сам не знаю, почему. Я хожу в библиотеку, беру книги, смотрю в ее озабоченные глаза, раскачиваю свою подыстощившуюся фантазию, а весна катит по городу, как асфальтовый каток, и надо знать идиотизм субботних вечеров, надо знать всего Клейста, Гофмансталя, Гейне, Гете, всех немцев на свете, которые когда-либо что-либо писали, чтобы понять, почему эти бледные щеки время от времени трогает румянец, а поджатый рот вдруг распускается влажным цветком, надо знать, как вежливы и обходительны могут быть кандидаты наук, надо знать бессонницу инженеров-экономистов, надо знать все это и еще массу других вещей, чтобы понять, почему все происходит именно так, а не иначе, и почему этому не видно конца.

...Ему пора бы встать на костыли, этому снобу. Но у него осложнение — воспаление сустава. Еще месяц постели — жаль, он так хотел ее увидеть...

Время от времени я беру детективы.

— Это вы кому? — несколько удивленный взгляд.

Смущенная улыбка. Себе, конечно. Что ж, таким я уродился. Кстати, почему она так относится к детективам? Бертольд Брехт, например, обожал их. (Даром, что ли, перелопатил всю классику, — нет, теперь я не лыком шит!). Надменное движение подбородка. Очевидно, следует понимать так: «Что положено Зевсу, не положено быку!» Зевс, то есть Брехт, может позволить

себе иной раз стать быком, но мне, то есть быку, Зевсом не стать никогда.

Кстати, взял я этого Кафку еще раз: «Сергей попросил», решил прочитать. Не понравился мне Кафка. Я уснул на пятой странице. И что он в нем находит, почему так любит и хвалит этого модерниста? (То бишь, это я передаю суждения Сергея по поводу прочитанного. Суждения эти я почерпнул из «Иностранной литературы»). Я начинаю тихонько ненавидеть этого сноба. Он, видите ли, увлекся Максом Фришем. «Назову себя Гантенбайн» — всю ночь напролет. Впрочем, это уже излишество. Чтобы передавать ценные суждения кандидата наук, достаточно прочитать предисловие. При моем косноязычии и незнании специальной терминологии, выходит довольно эффектно.

А дни летят. Желтые субботы слетают с календаря одна за другой. Впрочем, они теперь окрашены другим цветом — академическим, светло-коричневым, что ли...

Я погружаюсь в эту игру с бездумностью мотылька, летящего на огонь. Разница в возрасте между нами слишком велика, чтобы я чувствовал себя виноватым. Маленькая ложь ребенку — привычная забава взрослых. Меня забавляет завороженность этой девчонки. Иногда забавляет, иногда бесит. И ее отношения с выдуманным мною Сергеем, которого я уже устал выдумывать, меня забавляют, дают пищу для размышлений. Например, я думаю о том, какую роль в жизни играют иллюзии. Ведь все мы или, по крайней мере, большинство, взрослые, серьезные люди, — носим в душе тайное стремление к несбывшемуся. Недаром таким бешеным успехом пользуются приключенческие романы и сильные личности, а классика больше пылится на полках библиотек. Классика скучна, потому что правдива, жизнеподобна, а мы сыты жизнью по горло. Не может современный человек смотреть на себя в жестокое зеркало правды с удовольствием. Ему хочется выпятить грудь на пляже и хоть на минуту ощутить себя суперменом, а не полысевшим раньше времени чиновником с отвислым брюшком. Иллюзии поддерживают, они помогают перешагнуть то, на что, зная судьбы других, часто и смотреть боишься. Но нельзя слишком доверять им, потому что если сломается и это, нечем будет защищаться. Жажда перемен, вера в то,

что они непременно будут, помогает терпеть однообразие, все остальное — дело случая, удачи. Жить хотят все, а с верой жить легче даже неудачнику.

Вот такие размышления занимают мое время все чаще. Явное влияние немецкой литературы.

...Я лгу сам себе и лгал с самого начала. Потому что вовсе меня все это не забавляло. И не забавляет, а тяготит. Игра продолжается, и какой-то холодок предчувствия обдает мою спину легким ознобом.

Она меняется на глазах, повинуясь какой-то неведомой мне женской идее, то есть — скорее инстинктивно, чем осмысленно, сама не понимая, что делает.

Во-первых, одежда. Нет больше серой бесформенной юбки, вязаного пуловера и глухих воротничков. Серое, но уже открытое платье с пояском, подчеркивающим талию и грудь. Появляются коричневые, но довольно изящные туфли на высоком каблуке, и подстриженные волосы открывают тонкую беззащитную шейку. Модные большие очки в тонкой оправе, женский жест. Косметика — чуть, легкие мазки. По-прежнему консервативно короткие ногти осторожно тронуты бесцветным лаком. Крепости рушатся? Нет, крепости строятся и укрепляются, так все это следует понимать, и ее напор растет день ото дня, проявляясь в потоке эрудиции, который обрушивается на мою бедную голову.

...Он вот-вот должен встать. Она вся как на иголках, но это проявляется своеобразно: у нее чуть припухают веки, и я понимаю, что это не от чего иного, как от усиленного чтения, лихорадочного перелопачивания специальной литературы. Она хочет быть во всеоружии, потому что он теперь вместо записок пишет ей пространные, на пяти страницах, послания. Например, такие: «Что касается Кёппена, то, на мой взгляд, вся его художественная система построена на разрушении, на бесконечном расчленении «Я», что само по себе служит признаком разрушения и деградации культуры в целом, между тем как истинной целью культуры всегда являлось и будет являться созидание. Разрушение старого есть внутренний мир человека, но не внутренний мир литературы, поскольку эволюция художника и эволюция творчества — разные вещи. Завтра художник может отречься от творений, которые волей-нево-

лей воспитывают миллионы. Поэтому нигилизм во имя построения — это дело уборщиков мусора, но не художников, и потому, приемля Кёппена как личность, изымая его из сферы вечной и общезначимой, я не приемлю его художественной системы. Это парадокс, но над этим стоит задуматься». И т. д.

Каково? Ай да кандидат!

И сын моего соседа — студент-дипломник факультета иностранных языков, очкастый, все на свете знающий парень — сидит вечерами у меня на кухне, попивая пиво, которое я ему покупаю, и строчит, время от времени хмыкая и высовывая язык, а то вдруг оглядываясь на меня круглыми, невидящими от сумасшедшей воли глазами и, даже забывая о пиве, строчит, строчит, становясь вдруг собранным и злым, как выпущенная из зоопарка пантера, а я сижу рядом на табурете, сонно гляжу в черно-прозрачное оконное стекло и вижу там свое отражение.

Я похож на почтальона, я это знаю. Но иногда, в бессонницу, меня посещает злобное торжество. Каким бы я ни был, создание моей фантазии живет, да еще как! Но и другие мысли меня посещают. Почему я, сумев создать его так, что его принимают всерьез, даже более чем принимают, почему я не смог создать сам себя? Где грань между игрой и подлинным? Может быть, все — игра? Или, например, нет никакой игры и все — подлинное. Может быть, хоккей — квинтэссенция жизни, может, потому мы и «болеем» так горячо, что там все коротко, жестко, все как на ладони? Не знаю... Но мое создание меня явно подминает. Он будет лежать еще месяц. Два! Он встанет на костыли, походит и, упав, опять сломает ногу. Я же вам говорил — отчаянная голова, с ним вечно что-нибудь случается...

Я не отчаянная голова, но со мной тоже что-то происходит. Я обретаю спокойствие и больше не злюсь на кандидата. Даже на библиотекаршу не злюсь. Потому что вдруг понимаю, что такое пустота. Она всегда чем-то заполняется, и мы заполнили ее чем сумели, жаль, что она не понимает этого. Раньше мне казалось, что она умней, теперь я вижу — нет. И, волей-неволей, умным должен быть я. Умным и осторожным. Пусть я всего лишь инженер и в книгах читаю только приключения.

...Сегодня не могу работать и сижу за столом, склонившись, пишу на чистом листе какую-то чепуху. Вчера вечером я встретил ее в городе. Совершенно случайно. Шлялся по главной улице, переходя перекресток, заметил знакомый блеск очков, чуть склоненных к правому плечу, и высокомерно вздернутый носик. Прошел мимо, через секунду что-то щелкнуло, и я, свернув, быстро пошел за мелькающим в толпе серым платьем, сам не знаю, почему. Она заходила в магазин. Точнее, забегала, как забегают после рабочего дня все женщины. Это забегание не в походке, а в чем-то другом, в безошибочности, что ли. Тот, кому некуда спешить,— ходит. Ходит и стоит у витрин, таращась на совершенно не нужные, вышедшие из моды галстуки или полукилограммовые зажигалки. Но есть и особый порядок деловитых, быстрых очередей, молчаливая очередь сообщниц, которым не о чем говорить, разве что бросить пару легких фраз по поводу свежести молока. Все остальное — в понимающих взглядах, легких улыбочках и общей озабоченности, потому что у всех, в принципе, одно и то же — сумочки, из которых вдруг извлекаются большие авоськи, и раннее расположение, и фасон рабочих плащей (выходные в шкафах; их надевают шесть или семь раз в году, пока они не выйдут из моды), и способность, мельком глянув на ладонь, определить, что не обсчитали.

Я шел за ней, таясь, боялся, как бы не оглянулась. А ведь было дело, как-то захотела сама побеседовать с кандидатом Сергеем, видимо, не удовлетворясь моим посредничеством. Вполне академично предложила вместе навестить больного, потому что женские руки, женский глаз — это не то, что бестолковое братство мужчин. Я тогда суетливо отнекивался, придумал для Сергея какой-то особый режим, и три дня (я имел в виду посещения библиотеки) меня преследовали ее сжатые губы и презрительный взгляд... (Ведь в случае чего — как объяснить?)

Она вошла в подъезд стандартного пятиэтажного дома, и я, успев добежать, услышал, как где-то на третьем этаже хлопнула дверь. Были сумерки, тихое истончение света, с Амура шел высокий, занимающий полнеба грозовой фронт, я сидел на скамейке во дворе, и впервые меня поразила мысль, что я ничего о ней не знаю. Как она живет? С кем и чем она живет?

Есть ли у нее подруги? Какой она бывает, оставаясь одна, о чем думает, что в ней заключено?

Я сидел, пытаясь понять, где ее окно и что она делает там, за этим окном, а по двору шныряли мальчишки-велосипедисты, где-то гоняли футбол, юные девочки ходили мимо меня парами, о чем-то перешептываясь и чему-то своему хихикая. И я увидел эту дыру в бетонной клетке, пропускающую призраки облаков, увидел окно, в котором на минуту появилась она, задергивая шторы, увидел ее высоко над землей — метров шесть, пожалуй, — увидел, что над этими чахлыми березками на газоне, над растрескавшимся асфальтом, над криками пацанов и хилым, замирающим полетом волана, она живет изо дня в день неведомой, непонятной жизнью, и мне никогда не узнать ее, этой жизни, потому что, в отличие от моего друга «кандидата наук», принципиально к ней не допущен, даже с цветами, даже если вдруг действительно полюблю ее, потому что сам дал ей в руки самое опасное — мечту.

Я ушел.

Я плохо помню тот вечер — где-то шатался, с кем-то знакомился. Проснулся не один и долго изображал сон, похрапывая в подушку, пока не смолкли воровatые женские шорохи и не щелкнул, тихо захлопывая дверь, замок...

Субботы начинают желтеть снова, как желтеет по краям, увядая, августовская листва. Лето кончается.

...— Вы знаете, возможно, ему отнимут ногу...

— Ногу?! Что-нибудь серьезное?

— Полиомиелит. Он сам виноват, никого не хочет слушаться, упрям, я ему не раз говорил.

— А вы-то что! Вы мужчина или нет? У него что — температура?

— Да не очень чтобы, но к вечеру поднимается..

...Мне рекомендован липовый цвет, как лучшее, апробированное предками потогонное средство, потому что таблетки, это, знаете ли, кому как...

Она носит ожерелье из янтаря — прозрачные, чайного цвета камушки с законсервированными насекомыми. Это редкое ожерелье и очень дорогое. Говорят, янтарь особо ценится, если в нем чей-нибудь труп...

Почему я не пускаю ее к своему страдающему другу? Я слишком туп, чтобы понять намеки, а она слишком тонка для прямоты. Или слишком молода? Или он

слишком стар и незауряден для ее прямоты? Но серое платье она давно сменила на легкое, пестрое, а заботливость становится воинствующей, где ж мне понять это? Я впрямь перестаю сам себя понимать. Себя, ее и «его». Они живут непонятной мне жизнью, и студент-сосед тихо разоряет меня своей мудростью. Меня тихо разоряет жажда мудрости. Но дороги назад нет, потому что тот, кто сказал «А», должен идти до конца алфавита. Иногда мне снится последняя буква...

Однажды я приглашаю ее в кино: «Сергей очень хотел, чтобы вы посмотрели этот фильм». Она соглашается между прочим, не глядя на меня, видимо, думая о том, что́ напишет ему в очередной записке, которые я подсовываю студенту. Студент все более нетерпим. Он громит классиков, и мне приходится редактировать его выражения.

Мы идем на «Осеннюю сонату» Бергмана — престарелая Кэтрин Хэпберн в главной роли. Я уже достаточно начитан, и в моем мозгу вертится озабоченная мысль: «По-моему, с этой дамочкой крутил роман Хемингуэй, он сам где-то упоминал, что они вместе встречали рождество, по-нашему — Новый год. Или я путаю?» Я попил пива перед сеансом...

Рука Кэтрин Хэпберн лежит рядом с моей на подлокотнике кресла. Бледная малокровная ручка с тщательно отмытыми, но все же видимыми следами чернил. Меня мучит желание накрыть эту окостеневшую бледную завязь своей теплой, растрескавшейся ладонью. Но я не делаю этого: призрак кандидата на водных лыжах с загипсованной ногой стоит между нами, и поэтому так зорок и остр блеск очков, не замечающих, что наши ладони соприкасаются, сжимаются почти разом и расслабленно мякнут. Она не хочет пропустить ни нюанса из фильма, хочет донести до «него» свое глубинное понимание.

Мы выходим в толпе, во взмокшем, растрепанном, смешавшемся потоке людей. Мужчины рады, что можно наконец закурить, женщины слегка задумчивы, величавы и беззащитны. Они поняли, какой должна быть стареющая женщина, уловили красивый стереотип подражания и останутся такими до темной прохлады выхода, когда, подхватив под руку своих мужчин, вдруг вспомнят, что у них самих все хорошо, и слегка покритикуют с чувством превосходства главную героиню

за неумение жить и воспитывать детей.

Мы идем по набережной сквозь стайки гуляющих, сквозь слитные группки идущих на танцы учеников речного училища, подростков в клешах, фуражках и синих гюйсах, слитно, как муравьи, тиранящих асфальт казенными башмаками. И говорим о кандидате, о проблемах современной немецкой литературы. Предметом созидательного творчества она выдвигает Германа Канта. Возьмите, например, его «Предварительные итоги», чем это не пример созидательного творчества, творчества на благо людей? Она явно находится под влиянием кандидата, и я думаю о своем студенте-соседе, которого становится все труднее держать в руках. Я провожаю ее до подъезда. Мне передают привет для моего несчастного друга, которому вот-вот отнимут ногу.

Это уже не шутки, и еще через неделю я решаюсь. «Он» должен исчезнуть, потому что мешает мне.

...В день «смерти» кандидата, — сам не знаю, почему, я давно не зову его по имени, — шел скучный, редкий дождь. Я плелся с книгами под мышкой в промокшем, обвисшем пиджаке по пустой улице, и это было то, что надо.

Она, едва взглянув на мою унылую физиономию, уже что-то поняла, голова ее дернулась и проследила мое убегание к стеллажам. Целый час я копался, думал, решал, что это надо наконец сделать, — надо открыться. Она умница, поймет и оценит мои труды, оценит спрятанные во мне сокровища и наконец прозреет. Но как же тяжелы были мои ноги, когда я тащился к ее склоненной над столом, ожидающей голове...

— У вас что-то случилось? — спросила она, и в уголках рта легли две насмешливые морщинки, как бы отсекая саму мысль, что что-то может случиться с ним!

— Да нет...

— Но я же вижу, вы что-то скрываете. Что такое?

— Видите ли, Сережа...

— ...?!

— Он умер... — Слова правды замерли у меня на губах, потому что она вдруг остолбенела, и я заторопился: — То есть не то чтобы умер, но...

Она заплакала. Слезы текли по окаменевшим щекам, и я понял, что никогда не скажу ей правды...

— Понимаете, гангрена, запущенное нагноение, я

говорил ему, разве его переубедишь... Ну, не надо так, не плачьте, прошу вас.

Я обнял ее, прижимая к себе голову, тщившуюся быть модной, и вдруг с ужасом понял, что сделал что-то не то. Не то! Потому что теперь мне еще придется искать безымянную могилу, а то и нанимать полупьяных гробокопателей, чтобы они создали правдоподобный образ. Может, даже придется поставить ему памятник — этому скромному, удачливому, душевно красивому парню со сломанной ногой. И я все это сделаю, чего бы это мне ни стоило, чтобы ей было куда прийти с цветами, в черной юбке, которую она будет носить с этого дня. А может, она даже попросит, чтобы ее похоронили рядом с ним, и тут я уже бессилен...

И я твердо уверен, что поставлю памятник и найду эту могилу, чего бы это мне ни стоило, потому что никто никогда не плакал так безутешно на моей груди. И я сам, обняв ее покрепче, пустил вдруг слезу, потому что мне его тоже стало жаль, этого сорвиголову, этого счастливчика, которого любят.

Свистопляс

В тихих переулках окраин пыль скапливается десятилетиями, и ноги вязнут в ней до колен. По ночам она серебрится, и тогда кажется, что это не пыль даже, а прах ветхой жизни, дотлевающей за глухими заборами под брех цепных псов. Бродят по переулкам куры, отыскивая в пыли косточку или семя, сонно зевают на улицу окошки, но небо над крышами широкое, как над степью, звезды крупные, и если хорошо поискать, то обязательно найдется в благополучной путанице дворов, гаражей, пристроечек и огородов ветхая развалюха, где среди хлебных корок и пустых бутылок тоскует одичавший и нищий русский гений, изобретающий машину времени или, там, эликсир правды. А в общем же, неистребимый старушечий дух все здесь себе подчинил, и даже свежий человек, забежав сюда случайно с шумной, заасфальтированной улицы, по которой нескончаемо катят автобусы и грузовики, начинает медленно переставлять ноги, тишает, как бы завороженный видом этого пепла житейского.

Но время от времени и в этой покойницкой тиши вспыхивают страсти. Вспыхивают и прогорают, добавляя пепла и костей в почву. Почва поднимается год от года, и дома все больше врастают в нее, одурев от собственной немоты и тупого накопительства, распирающего стены и дворы.

В Первомайском переулке страсти разгорелись, когда прошел от остановки, метя клешами и помахивая чемоданчиком, посверкивая зубами, якорями и золотыми буквами на бескозырке, вернувшийся со службы Витька Лоншаков.

О Витьке надо сказать особо. На каждой, пожалуй, улице есть свой террорист — притча во языцех. Так вот, Витька был из таких самых. Вешал кошек, в садах наводил разор, мог намертво заложить ворота, так что хозяевам приходилось со срамом перескакивать через забор, будто и не почтенные люди, а свистуны какие-нибудь. Мог своротить дворовый туалет и еще такое делал, что стыдно сказать. К его чести, шакальими делами, которыми тешат себя городские подростки, сбиваясь в кучки, Витька никогда не занимался, —

пьяных не обирал, а если задирал кому из местных девчонок подол, то при полном согласии, и воровать, не считая огородов, не воровал; однако все местные старухи, дальше магазина не выползающие и с ночной городской жизнью не знакомые, искренне считали его исчадием.

Больше всего любил он забраться ночью в чужой двор, подкрасться к открытому окошку, за которым шамкали во сне беззубые старички, и, подкараулив момент, заржать по-лошадиному, засвистеть, закрутить кошке хвост, чтоб взвыла, заголосить и удрать. Со стариками случался детский грех от таких концертов. Они на Витьку ходили жаловаться, и его постоянно таскали то в комиссию по несовершеннолетним, то в отделение, грозили отправить в колонию, но он опять появлялся, потрепанный и похудевший, но все такой же дикий, и, возвещая о своем прибытии, на всю улицу свистел. Свистел он отменно и с каким-то фокусом. Свист начинался с тонкой ноты, нарастал и начинал вибрировать. По ночам слушать его было жутко. Дело было, видимо, в том, что Витька с детства был щербатый — еще когда жили они в деревне, его лягнула корова, лягнула удачно, только чуть зацепила, но вывернула верхнюю губу и расколола зуб.

В город Лоншаковы переехали лет десять назад, обтереться еще не успели, людьми были, в общем, простыми, и Витькин отец, ни в какие милиции не обращаясь, воспитывал его по-простому, то есть сек. И больше всего любил применять для этой цели березовый веник, которым мели двор. Витька лет до семнадцати это сносил, потом сносить перестал, и отец махнул на него рукой. До самой армии Витька нигде не работал, попивал и дрался, и его в конце концов точно укатали бы, потому что город — не деревня, но тут его призвали, и весь переулок наконец вздохнул.

И вот — вернулся...

По этому поводу на личной и государственной технике понаехала из района многочисленная родня, и два дня шла гулянка, изумившая переулок своим масштабом: столы стояли во дворе и ломились — родня, зная город, понатащила с собой кур, гусей и поросят. Что характерно, Витьку любили. Бранили, конечно, всяко, укоряли, но и любили, как, наверно, любят в себе несостоявшееся. Бывает такое — вырастает в сте-

пенной трудолюбивой семье не знающей отдыха и по выходным, гуляка, бабник и нервотреп, и ему, всячески его браня, завидуют. Завидуют его разгильдяйству, беззаботности, потому что в каждом русском человеке, наверно, сидит эта мечта — когда-нибудь сбросить все поводья и пуститься во все тяжкие. Так крестьянские послушные лошади смотрят на дикого степного жеребца, одновременно и любуясь им, и желая, чтобы он ноги себе переломал.

На службе Витька наел себе бычиную шею, остепенился как будто, сидя за столом, слова даром не ронял, солидно так улыбался вывороченной губой, но когда, захмелев, откололи матросское «Яблочко» и мужики заревели восторженно, полезли целоваться к нему и просили для пущего веселья засвистеть, он ломаться не стал. Присел, надулся и пустил над огородами такой свист, что разом залаяли все собаки и толстый дядька Елизар, заснувший прямо за столом с недоеденной куриной ногой во рту, очнулся и, зажав уши ладонями, замотал головой. Мужики опять заревели, полезли друг к другу целоваться, а Витька, оглянувшись вокруг шалыми глазами, оскалился щербатинкой, будто только сейчас поверил, что и вправду вернулся. Вот он — дом, вот заборы, а вот отец с матерью.

Всю ночь плясали и пели, плакали и порывались драться, уже и про Витьку забыв. Старый Лоншаков стучал по столу кулаком и кричал: «Все, Марья, собирайся! Завтра обратно едем, я этот город понюхал и в виду имел! Собирай чугуны! «Да куда же мы, Проша, поедем? — уговаривала его старуха. — У нас, глянька, дом, хозяйство...» «Да пусть он огнем горит! — орал старик. — Хочу на кладбище нашем лежать, на ветру! А тут только закопали — уже вырыли, и дом на тебе построят, дура!»

— Да, да, да, — кивали мужики.

Кончилось тем, что погас свет, и Елизар, работавший в деревне монтером, полез на столб чинить. Сорвался и упал, поломав забор, да и не встал. Решили— насмерть разбился. Стали поминать Елизара, кто потрезвей побежали за врачом. Приехала «Скорая». Оказалось — спит. На радостях хотели напоить врачей, но те не дались, скоренько забрались в машину и уехали. Из дома вынесли керосиновые лампы и опять

стали гулять. Утром еще немного посидели, покряхтели да и разъехались.

Так, под свист, под гармонику, под бессонную летнюю ночь вернулся Витька.

Тем временем, по сюжету, жили в соседях у Лоншаковых Сорокины, забор в забор. Люди в прошлом тоже деревенские, тихие, малосемейные, и процветала у них дочь Любка, студентка. Когда Витька уходил служить, она только-только начала вылупляться из девчонок. Худая была, угреватая, и, естественно, в своих похождениях Витька ее в виду не имел. Но три года — не три дня. И Любка на месте не стояла, оформилась. Сама пухленькая, задок круглый, вся голова в кудряшках, губы поджаты бантиком, носик вздернут, словом — девица. За год до Витькиной демобилизации начали у Сорокиных под окошками посвистывать вечерами и наезжать на мотоциклах, но Любка как будто не гуляла, нет: то ли уж очень разборчивой была, кандидата, что ли, в пару метила, или уж очень в своем самомнении окостенела.

На следующий же день после гулянки Витька ее увидел. Сидел он на крыше летней кухни в тельняшке, в невыносимых суконных штанах, щелкая семечки; смотрел на огороды, слушал, как на станции стучат буферами пущенные с «горки» вагоны и что-то насвистывал. Время падало к вечеру, на железнодорожных складах зажигались первые фонари, небо час от часу темнело, становилось все выше, тяжелей и тревожило. Окошки кое-где теплились.

У Сорокиных хлопнула дверь. Витька лениво повел шеей. Видит — идет существо в синих трикотажных брючках и маечке. И не идет, а пишет всеми своими выпуклостями, переливается. Витька тут же заинтересовался, стал всматриваться. Ни слова, ни мысли в нем дольше секунды не держались.

— Ого, — говорит, — какое прилагательное!

Она только зыркнула на него и, опустив голову, прошла между грядок к деревянной будочке в конце огорода. Витька и тут не дал маху, заржал и ликующе засвистел. И опять принялся щелкать семечки. Расщелкнет — и на небо посмотрит. Еще расщелкнет — и опять посмотрит. А оно висит стеной, темно-фиолетовой занавесью и растет, растет, и в нем нет-нет начинает посверкивать, будто глаза из-за кулис.

Опять хлопнула дверца и, опустив голову, пошла Любка между грядок обратно. Витька стал кидать в нее мелкими камешками и прочим сором, который был на крыше.

Она остановилась, сунув руки в бока:

— Дурак! — И пошла дальше, вздернув нос.

— Что ты, девка, мимо ходишь, на меня смотреть не хочешь? — гнусавя, пропел Витька, хлопая себя ладонями по коленям и скалясь щербатинкой. Пропел и загоготал, чувствуя, однако, некоторое смущение и нахальством его маскируя.

Любка только кудряшками встряхнула. Витька, не желая сдаваться, вслед ей запустил:

— Ну корма-а-á!

Любка молча прошла по дорожке и вошла в дом. Засветилось сквозь деревца окошко с белыми занавесками и цветком на подоконнике.

Витька привстал на крыше, вытянул шею, разглядел комнатку с кроватью у стены, коврик на полу, этажерку с книгами; у окна за столом сидит Любка и по белому листу тянет рейсфедером ровную линию. Строгая... Витька сразу заскучал, зверски зевнул и опять принялся щелкать семечки. Через часок снова на Любкино окошко взглянул. И затаился, боясь вздохнуть: Любка, то ли забыв про соседа, то ли нарочно, стояла у окна в одних плавках и лифчике, — видимо, спать собиралась. Постояла, потянулась, выставив высокую грудь, и задернула шторы. Тут же и свет потух.

Витька все смотрел в потухшее окно, вытягивая шею, потом сел. Уже лягушки кричали, мокрело на крыше железо и лунное сияние гуляло по садам. Его зазнобило, он встал, крепко потер руки, с рычанием потянулся. От крестца поднималась сладкая истома, разогревая кровь, чего-то хотелось, а чего — не понять. Он опять потянулся, выгибая позвоночник, вдруг махнул с крыши вниз, схватил колун и взялся колоть здоровенные, чуть не в обхват сосновые чурки, лежавшие перед сараем. Колол, рубил, пластал, что есть силы всаживал колун, выдирал его и, опять скалясь до хруста, до звона, до боли в плечах, бил и бил. Разбудил стариков. Отец, высунувшись из окна, недовольно крикнул: «Да тише ты пластай, на ночь глядя, жеребец!» Витька, запаленно дыша, отбросил колун, стянул мокрую тельняшку, окатился из бочки водой, сунул ту-

да голову, поболтал ею, крепко растерся, успокоился и повеселел. Полез на чердак, где мать устроила ему постель, и моментально уснул, храпя на весь переулок до сотрясения шифера.

Вечернее происшествие он сразу позабыл, тем более что Любка ему два дня после этого на глаза не попадалась. Да и некогда ему было. Пошел по дружкам, подружкам — свои законные три месяца отгуливать. И опять от него взвыли. Как вечер — так ведет компанию. Сам с гитарой, во рту папироска. Кричит: «Мать, тащи на стол!» И до утра в переулке свист, мат да пляс. Хоть бы были путные люди, а то ведь страшно с утра смотреть — вся зала запакощена, а девки эти несказуемые с парнями вповалку храпят, хоть ты их секи чем попало, хоть ищи ихних матерей...

От мая к июню время скакало, летело, звенело, а Витьке все мало. И—вот же зверь! Народ со двора уползает полумертвый, а он встает, как по команде, отшвыривает простыню, кричит: «Мать, воды, да похолодней». И в трусах идет во двор. Старуха льет ему на затылок из кувшина, а он только рычит, да скалится, да мясо свое мнет до синяков. А после кидается рубить дрова и рубит до пота, до полуобморока. И опять воды требует. Плещется, моется и — за стол. Мать ставит ему миску борща. Он посидит, понюхает пар, покрутит в пальцах ложку, шевельнет полосатыми в тельняшке плечами, осторожно черпает и, как причастие, подставив хлеб, несет ложку ко рту. Подует и тихонько со всхлебом проглотит. Поведет крепкими скулами, перетирая на зубах фасоль и капусту, и скалится на мать: «А борщец!» Мать разом засуетится, то ли пригорюнится, то ли обрадуется, старый Лоншак шевельнет на нее усами, и старики, переглянувшись, разом отвернутся друг от друга. Старый Лоншак шевелит усами, щурится, хмурится, смаргивает и ложечкой в тарелке все мешает, мешает... Старуха его тоже начинает на столе разные вещи двигать невпопад. А Витька знай хлебает, отдувается и поднимает на них шалые глаза, кряхтит и пошмыгивает разомлевшим от горячего носом. Дохлебает и заорет: «Батя, я пошел!» Наденет костюм, галстук, остроносые ботинки, сверкнет зубами, помашет от калитки — и нет его, только в конце переулка качаются квадратные плечи чуть-чуть форсисто приподнятые.

Старикам становится скучно, и они выходят во двор.

Лоншак начинает что-нибудь строгать, шоркать рубанком, старуха вокруг него все вьется, кувшины на штакетник вешает, кастрюли, все чем-то позвякивает, побрякивает, шуршит, будто говорит: «Пусть сыночка погуляет, пусть его... Денег, что ль, мало у нас? А кому собирали? Кому копили?» И рубанок у Лоншака свистит: «Пусть... Пусть... Пусть...» И гусеницами шевелятся густые, до рыжины прокуренные усы.

А Витька гуляет до самой ночи. И нет на него ни лиха, ни тифа, ни прокурора... Живет, сукин сын!

До Любки ему до поры было мало интереса. Что Любка, когда хвост торчком и очи по тарелке? Но и у Витьки резервы были. Однако с июля начала его улица шатать. Идет под тополями домой в полночь под луной, а она ему: «Спи, сынок, спи...» Подойдет он к колонке, скинет пиджак, рубашку, окатится водой — и ничего. И в синем пепле переулка переставляет ноги, не боясь, задирает голову и скалится, а она ему в ответ: «Так, так, так!» Желтая...

И тогда опять увидел он Любку.

Шел как-то от остановки, и кидало его по синим буграм. Топал себе, как по палубе, развалисто, сунув руки в карманы и ожидая — мож кто попадется по морде дать?

Переулок тянул, вилял, сникал и тонул под распустившейся черемухой, Витька увидел — у соседского дома кто-то сидит в белом, шевелится, дышит. Витька свернул и по пыли побрел к скамеечке. Глядь — Любка. Сидит, сжатые коленки набок, и семечки лущит. И глазками — зырк да зырк. То потухнет, то вспыхнет опять влажный блеск. Посверкивает, посматривает... А то — вздохнет.

Витьке женский пол пропустить — поперек горла. Показал луне щербатинку, упал рядом на скрипнувшую скамейку. Густо вздохнул и глянул на соседку, а она все семечки лущит да поплевывает. И с большого глаза ее катится волной влага. Витька ухмыльнулся и придвинулся, Любка, вздрогнув, отодвинулась. Витька следом. Она опять. И он. Так до самого края двигались. Тут Любка вскочила, но он потянул ее за руку, отодвинулся и усадил.

— Как, Люба, поживаешь? — А сам все держит ее полную руку и чувствует, как тикает ему в ладонь мягкое, чуть испуганное тепло.

— Ничего, — ответила Любка, искоса, в насмешку, посверкивая. — А вы, Витя, все гуляете?

— Так для нас, таких, время есть, государством установленное.

— Мне, Витя, кажется, что вы всю жизнь так проживете.

— Ах, Люба, что вы во флотской душе такой-сякой понимаете! Я, может, видел Персидский залив...

И обнял ее и потянулся губами, вытягивая их в трубочку. Любка крепко уперлась ему в грудь ладонями и отвернула лицо:

— Шли бы вы, Витя, лучше причесались.

Оттолкнула его и, шмыгнув за калитку, звякнула щеколдой. Из-за забора до упавшего на скамью Витьки донеслось насмешливое: «Жених!..» И бисером рассыпался в темноте смешок.

Заскакали у Витьки перед глазами маленькие шарики. Он хмыкнул, удивляясь про себя силе оттолкнувших его рук и словно даже радуясь этой силе. Встал, пошатываясь, и завихлял к своей калитке. Подойдя, остановился перекурить, продлить минуту.

Тихо было в переулке. Не лаяли собаки, не пели петухи, в садах было темно и крыши лежали в них синими плоскостями, как посадочные, для нечистой силы, площадки. Луна дробилась на трубах, и серебрились телеантенны. Небо казалось черной, траченной молью шалью, и Витьке стукнула в голову шальная мысль: схватить бы эту тряпку за край да стянуть, посмотреть — отчего это такой свет неземной в щели светит? Стянуть, а там ...что? Может, там кто с фонарем ходит? Может, там сияние да еще что-нибудь?..

От долгого смотрения в небеса пополз у него по спине холодок. Витька докурил папироску, отщелкнул ее в темноте и вдруг, сунув в рот пальцы, присев, запустил туда, вверх, свой бандитский свист. Запустил и замер, разинув рот. В воздухе будто рябь прошла, что-то грохнуло с ледяным хрустом и — то ли померещилось ему, то ли вправду, весь купол вверху пришел в движение, сверкнуло белым и долго еще дрожала листва и оседала пыль от пронесшегося по переулку ветерка.

Уже сидя на кровати и снимая ботинки, он вспомнил про Любку и замер с ботинком в руке, морща лоб. Посидел, посидел и сказал матери, которая утюжила ему на утро помятый в гулянках пиджак:

— Мам, а что у Сорокиных Любка?

— Ох, Витя, — завздыхала старуха, — женился бы ты, может, что и разрослось.

— Ладно, — сказал, — холода нам не страшны.

Отшвырнул ботинок, упал на кровать и уснул.

С того дня стал Витька вроде тишать. Тишать и все чаще на соседский двор поглядывать. Вцепится в штакетник и стоит, сдувая с губ подсолнечную шелуху, а глаза становятся, как у барана,—выпуклые, недоуменные и вроде как обиженные. Он еще играл на гармошке и песни орал с дури бездельной, но шлялся уже не так, больше просиживал, как кот, на крыше кухоньки, выслеживал, когда Любка пойдет через огород, и обсмеивал, трепушил ее всяко, а то и из рогатки в нее пулял, как маленький прямо.

Любка на него злилась и даже в подушку поплакивала: как ей, образованной, было терпеть такое отношение? Но нос задирала, потому что бабьей подкожной сметкой уже дошла, куда Витька присесть хочет. Тут бы ей намек дать, поиграть глазами, чтобы губошлеп невесть чего вообразил, — он бы рабом ее стал, с ног ей пыль сдувал, собакой под окошком лаял, но Любка до такого ехидства опытом не дошла, да и с принципом была девка. И что самое главное — Витька на ее тайное усмотрение был больно уж дик и свистун к тому же. А Любке хотелось основательного человека. Хоть и водила она компанию с очкастыми умниками, хоть щупачи из институтских ловеласов всякого ей напели и под стишки, гитару да винцо потрогали ее, она уж зорко смотрела, какую ей надо в хозяйство скотину. Из деревни народ обстоятельный выходит. Журавля не ловит, а синице улететь не даст. Вот ради любопытства прийти на праздник в семью, которая лет десять как навоз ворочать перестала и в город перебралась, посмотреть, кто за столом сидит. Кто сидит? Крепкие люди сидят, стулья под ними поскрипывают. Кладовщики, заведующие, милиционеры.

Если бы Витька жизнь завоевывал, Любка, может, до него бы снизошла, а он, дурень, на крыше сидел, насмешки строил да из рогатки пулял. Хоть бы еще стишки читал, а то, как назло, стишков-то и не знал, только похабные побасенки. Нахватался, в общем, культуры на морях. От скуки построил Витька на крыше голубятню, откуда-то натаскал турманов и стал го-

нять их. Стоит на крыше в тельняшке и машет шестом с прибитым к нему мочалом. Рядом город ворочается, машины ходят, люди спешат, под ноги глядя, двери хлопают, машинки в учреждениях стучат, бухгалтера над отчетами преют, торговля кругом идет, отношения выясняются, стенгазеты выпускаются и выносятся выговора, кругом заседают, вопросы решают серьезные и, устав бумаги по столу перекладывать, замаявшись сердцем, отъезжают на курорты, хоронят кого-то, говорят, не зря пожил, на работу не опоздал ни разу, в роддомах младенцев не успевают принимать да нумеровать, народ над «Жигулями» страдает, запчасти не может достать, седеет раньше времени, а достав, сам себя уважает и на встречных свысока поглядывает, — жизнь идет, в общем, серьезная, делу время, потехе перед сном — час.

А Витька посадит на ладонь голубку, погладит пальцем сизые перышки, наклонится ухом, слушая, что она там воркует, часто тукая горячим птичьим сердцем, поднесет ее клювом к вывороченной губе и, губами забрав клюв, пустит в него нажеванного хлеба, а потом подкинет вверх. Она, подлетев, распустит крылья, затрепыхается и уже, упруго отталкивая крыльями воздух, начинает чертить круги, норовя сесть. Взлетит за ней вся стая, и Витькин свист подбросит ее к облакам. Витька стоит и скалится. Голубей он любил. А еще любил кормить кур намоченным в вине хлебом, и когда они во главе с петухом, захмелев, начинали спотыкаться по двору, очумело, невпопад квохтать и всякие фокусы выделывать, Витька садился на крылечко и играл им на гармошке. Мать его за это ругала — куры с похмелья не неслись, — а он только улыбался. Любить любил, но и голову мог открутить той же голубке, не поморщившись. При таких странностях как Любкиной симпатии к нему повернуться?

Что еще характерно — не любил он города и дальше деревянной слободки с ее переулочками, черемухами, деревянными домиками выползал редко.

Ну вот. В общем, начала Любка Витьке видеться. Ляжет он спать, глаза закроет, тут и она подкрадется. То в бесстыжем виде, от которого в жар кидает, то вроде скромница, то вроде молит о чем-то, то издевается над ним и с улыбочкой стегает его кнутом. Витька перевертывается с боку на бок, повздыхает, засопит,

опять перевернется, сядет. Посидит, посидит и ляжет опять, натянет одеяло на голову и начинает считать. Уже до ста досчитает, уже и сон подступает, а тут опять — Любка...

Днями он, насмешничая, присматривался к Любке с недоумением. Столько они вместе в снах его натворили, столько всякого наговорили и наплакали даже, что ему перед ней как бы слегка неудобно. Хоть бы щипаться позволила, все бы Витьке легче, как с живым существом, от которого ясно чего ждать можно, но Любка такой павой ходила, что Витька не представлял, как к ней подобраться и чем ее взять.

От недосыпаний и недоумения стал он худеть. Даже блажь всякая в голову лезла: а может, думал, подвиг какой совершить? Потом нашел он все же выход и стал Любкиных кавалеров отваживать. А они к ней нахаживали, заниматься чтобы совместно. В комнатке сидят: Любка, ноги поджав, — на кровати, кавалер на стуле. Разговаривают, смеются, а Витька через забор поглядывает и щурится. Как звякнет за кавалером калитка, а они поздно засиживались, Витька не торопясь выйдет следом, ласково попросит у парня прикурить, пощурится да и предложит дорогу сюда забыть. Парень рыпнется, тут Витька и съездит его по уху. И еще разок. Если кто покрепче попадался, то и Витьке перепадало. Но конец всегда был один: флот — он человеку закалку дает физическую и моральную, известное дело. Иной раз Любка выбегала, ругалась, отбивала у Витьки соперника и сама провожала из переулка. Витька на такое обращение ухмылялся и сдерживал желание отвесить одним разом и Любке. Приходил домой, валился на койку и терзал себя мыслями, представлял, как он над Любкой воду варит, треплет ее уже по закону и праву. «Ла-адно, — думает, — дай до загса добраться, а там я те устрою блошиный цирк». Ну, а днем опять они друг друга всякими словами поливали и насмешки строили. Любка и понимала и понять не могла, чего ему надо. А в Витьке злость и насмешка кипели оттого, что в нем страх сидел: что как вот эта женщина верхом на него сядет? Сядет и ничего он, Витька, против этого не сделает, а даже рад будет.

Старики, и те и другие, все это понимая, тоже вошли в конфликт. «Что дурень ваш к нашей Любке

пристает?». «А ваша все хвостом крутит? Не вертела бы. Чего она ему знаки строит? И гости к ней ходют». Ругались больше старухи, старики только горюнились, понимая, что как ни крути колесо, дороги разные, а деготь тот же.

Понемногу Витька стал успокаиваться, перестал на крыше сидеть. Открылось у него другое увлечение.

В переулке, в самой его глубине, жил скользкий один мужичок по фамилии Копцов. Не любили его — чувствовалась в нем какая-то червоточина. Появился он неизвестно откуда, вида был неприятного. Лысенький, с брюшком. В разговоре хитер. Похихикивал. Никогда слова грубого не скажет, не обидит, про жизнь спросит с участием, ребенку конфетку даст. Но дети его не любили, прятались от него, и собаки на него не лаяли, вот что удивительно. Точнее всех определила его старуха Бобкова — серьезная была старуха, тучная, в церковь ходила каждое воскресенье и принародно, стуча палкой, любила бранить космонавтов за то, что погоду портят и богу житья не дают. Старушки вокруг нее собирались по вечерам на бревнышке, говорили про святых, про месяц ясный и про своих детей, а Бобкова всех пушила за грехи. Суровая была бабка, крепкого отлива. Одна она могла Витьку еще подростком поманить пальцем и потрепать за чуб, да по мягкому месту стукнуть клюкой. Любила она Витьку. А Копцова не терпела, величала пауком. А он особо лебезил перед нею. Ходили к нему по сумеркам всякие непутевые бабенки и серьезного вида мужики в сапогах и кепках.

И с этим типом Витька схлестнулся. Копцов стал его к себе зазывать, подмигивать, предлагал от сердечных переживаний излечить, намекая на известное обстоятельство, которое ни для кого в переулке секретом не было, — что Витька от Любки страдает. И впрямь было в нем что-то паучье, в Копцове, умел он человека опутать. Витька из любопытства стал захаживать. Ну, винцо, гитара малиновый звон, да песни странные, карты с картинками, разговоры... Он сразу понял, куда дело клонится, но нет чтоб из кубла этого бежать, стал едва ли не каждый день захаживать. Как-то Копцов, кое с кем перемигнувшись, толкнул его, пьяненького, в соседнюю комнату, и там на кровати увидел Витька пухлую накрашенную девицу. Уже

и ночевать домой не появлялся. Старый Лоншак стал примечать, что из комода деньги пропадают, пробовал с Витькой говорить, но тот строил невинную физиономию, и старик только кряхтел от огорчения. Был у Копцова по этому поводу даже стишок.

— Живем, — говорит, — Витя, только раз! И жизнь наша — свист да пляс.

Строил Копцов ему намеки на легкую жизнь и большие возможности, но Витька делал вид, что не понимает. В карты играть играл, водочку попивал, но под Копцову дудку плясать не торопился. А потом, проиграв в карты сотни три родительских денег, и вовсе ходить перестал. Отшутился, отбрехался от Копцова и опять стал голубей гонять да шляться ночами по переулкам. Любка тем временем отбыла в стройотряд, и Витьку видения не тревожили. Он только то, что живое, чувствовал, так уж был устроен.

Но было ему все это время маятно и тревожно, ночами не спалось и наваливалась тоска. Глушил он ее по-старому — драками и гулянками. О Любке думал теперь спокойней, без жара, но она вошла в него прочно, и невозможно ему уже было представить себя без нее, как и без синих от пыли улочек, в которых заблудилось детство. В поведении и характере своем ничуть Витька не изменился, но дикость его, поистрепавшись в угарах и пущем у Копцова забалдении, будто вылиняла, сошла на нет. Сам он, умом понимая, чувствовал, что безобразные те ночи у Копцова нужны были, чтоб дойти до края, вываляться в грязи, а потом, грязь очищая, привести себя к знаменателю и на Любке жениться. Такие были у него планы.

И не в том было дело, что — любовь. Если бы кто сказал Витьке, что врезался он в Любку по самые уши, он, пожалуй, расхохотался бы, а то, рассердившись, еще и побил бы. Слова для него не значили ничего абсолютно. Чудилась ему в них какая-то хитрая уловка. Да и не знал он всяких таких слов. В том же, чего ему хотелось, был для него закон, и не от каприза вовсе. Желание для него было как бы движением, естественным, как оборот земли, без всякого понимания, хорошо это или плохо, иначе он и жить не мог.

У совести много ловушек, из них удобнейшая — страдание. Коль страдаю, значит, вроде искупаю вину и уже как бы сам себя наказываю и уже не виноват.

Так весь грамотный народ от вымирания и спасается. А Витька страданий и мук совести не знал вовсе. Худел, аппетит терял, сон, даже слабеть стал, но уколов этих злостных, что доводят до умоисступления, он не знал. И не потому, что поступал по совести. Он-то как раз, для нормальных людей, был самый что ни есть бессовестный. Тем удивительнее, что старуха Бобкова, людей насквозь проникающая, о Витьке говорила непонятное, как говорят о блаженных, что его, дескать, Витьку, бог любит. Старуха бога везде и всюду совала, меж тем всякий раз понимала под этим словом разное.

Отгуляв свои законные, Витька устроился на станцию, в багажное отделение грузчиком. По двенадцать часов в ночь через сутки. То есть, и тут потакнул безалаберному и разнузданному своему нраву. Уж лучше он отработает на четыре часика больше, чем всякий дисциплинированный серьезный человек, да чтоб потом сутки можно лежать и пузо чесать. Не любил он всяких расписаний и радовался оттого, что работать надо было по ночам — вроде уж не работа, а забава. Когда и попотеть приходилось, конечно, но это его не пугало. От здорового физического труда и усердных родительских забот он быстро пошел вширь. За Любкой скучал. Сядет на крыльцо, подопрет кулаком подбородок, посмотрит мутно по-над огородами, где качаются желтыми фонарями подсолнухи, подумает: «А что там моя Любка?» Вздохнет, почешется и опять вздохнет. Скуки ради начал он опять похаживать к Копцову, в картишки поигрывать.

Копцов же вился вокруг него, не чуя ног, и был ему страшно рад. То ли впрямь Витька ему глянулся, то ли был у него подлый план сбить парня на плохую дорожку. Подсовывал ему Копцов разных бабенок, но Витьке они не глянулись.

— У-у-у! Вот это зацепила она тебя, — хихикал Копцов, обнимая его за плечи, заглядывая в глаза и масляно жмурясь. — За жабру тебя взяла, а? Да я тебе таких — вагон!

— Не надо мне их! — отмахивался Витька. — Ты лучше, Тимофеич, скажи, бывает у тебя недоумение?

Копцов пучил глаза, закусывал губу, тужился, изображая задумчивость, и кивал: да, мол, Витя, что есть, то есть.

— Вот и у меня, — узил глаза Витька, — что-то будто у меня вынули, Тимофеич.

— Что с нашим братом делают! — всплескивал руками Копцов. — Что делают! Непостижимое! У меня, Витя, тоже любовь была...

Застольные бабы от таких речей басом хохотали, Копцов на них сердился и топал ногой, багровея. На подлость он был горазд, но под хмельком тоже любил поговорить про тонкие вещества до дрожания в голосе и слезы.

Народ у него собирался один к одному, как грибы под той осиной, на которой Каин висел. Приходили с барахлом, уходили врозь и тихо, как бы пьяны ни были. Копцов меж ними мелким бесом вился, но, как видно, не любил, и даже ненавидел тайком. Наверно, потому он Витьку и привечал, что чувствовал в нем бесхитростного человека. Подлости с подлостью тяжело жить, известное дело. Она простоту любит, голубит ее, над ней ставит опыты и перед ней кается. Любил Копцов с Витькой далекие разговоры заводить.

— Вот, — говорит, — Витя, не любят меня тут, брезгуют. А за что, спроси? За то, что я закон преступаю. А людишки эти за заборами что — лучше меня, думаешь? Да они в мыслях, может, во сто крат хуже моего, но боятся до икоты, трусы то есть, а я честен. Я воровским делом ведаю. Я с открытым забралом иду. И наказуем буду. Но в мыслях-то подлости не держу! Она вся наруже! Так кто из нас подлее? Ведь им только волю дай, только лиши их страха, да они такого натворят, такого натворят! Они, может, только и ждут, когда объявится кто-нибудь, кто скажет им, что подлость их отныне будет в закон введена. Они подличать боятся, потому что им нужно, чтобы подлость была в законе. Вот кто страшен-то, а не я! Не дай бог, будет такой закон, — да они всех вокруг переедят, а потом друг из друга кровь выпьют! А меня они ненавидят, потому что завидуют. Сами бы так хотели, да кишка тонка!

— Не понимаю я этого, Тимофеич, — говорит Витька, вспоминая свое, светлеет и уходит глазами.

— Да ты и вправду блажной! — в сердцах восклицал Копцов. — Здоровый, а как ребенок! Баб тебе гоню, не хочешь! Чего ж тебе надо?

— Не знаю, — отвечал Витька. — А если б что

сбылось, значит, так тому и быть. Этого и хочется, значит.

— Ду-урак! — кипятился Копцов, ничего не понимая и от непонимания злясь.

Витька скучал и вдруг, ни с того, ни с сего, принимался безобразить. Глаза загорались кошачьим шальным блеском, отлетал стул и флотские клеши писали кренделя под гитару, тяжко грохотали по полу каблуки, шлепали ладони, и тут уж было его не остановить. Если начал, значит, будет содом, — свист, безобразие, оборванные юбки и свороченные набок носы. Копцов в такие минуты на Витьку смотрел с обожанием и со злостью, мял себе ладонью физиономию, хлопал по толстым коленям. Ведь такая силища, не знающая страха, а дураку досталась. Эх, взнуздать бы да плеткой, плеткой! В общем, смотрел, как купец на чужой товар.

Уже крались ленивые дни осени, наполненные суховатым шуршанием желтеющей листвы, вялой от усталости долгого лета, ежились по утрам лужи, и у собак стала видна душа, отлетая клубочками белого пара в выстуженную утренниками стынь обветшалых небес.

Город как-то разом запарил, взбодрился, гулко покрикивая гудками машин, забегал быстрее и крепче спал, рано гася окна. Витька полюбил ходить на речушку, что виляла в деревянной путанице окраин, унося людской срам. Речушка была заросшая, захламленная сором, иной раз пованивала, но за себя боролась, очищались и в середине была светла. Под ивами, у воды, было укромно и тихо. Рядом стояли блочные пятиэтажные дома, потихоньку проникающие на окраины, мостились в геометрическом порядке скамейки и беседки. Недремлющий глаз общественного мнения выживал отсюда слободских алкашей, привыкших к тому, что каждая скамейка родная. Трепыхалось на балконах белье, какое любая старуха в деревянных домах сочла бы за позор чужим людям показать, ребятишки мяч гоняли, в общем, освоился, обжился народ.

Витька, минуя асфальт, переулками пробирался на речку и часами сидел где-нибудь на бережку, строгая ножиком палку, лежал на опавших листьях, подперев голову и глядя, как полощет длинные пряди водяной травы, а то воображал, что если, мол, построить дамбу, запрудить речку да пустить карасей, глядишь,—

и рыбалка была бы. В грязной низине текла своя жизнь. Посиживали под кустами компании, бродили старушки с палками и мешками, собирали посуду, добирая копейки к пенсии, бегали, роясь в мусоре, тощие собачонки. Чистый народ из больших домов речкой брезговал и детей на нее не пускал: дескать, там сплошь зараза. Что характерно, из деревянных домов тоже ребятишек на речку не пускали: говорили, что там водяной живет. И рядом была людная, шумная улица, по которой вечерами катили набитые троллейбусы, перевозя из окраинных общежитий в центр, на танцы, расфуфыренных, толстоногих и курносых горожанок в первом поколении, двинувшихся завоевывать себе жизнь и инженеров в мужья.

А Витька на речке время убивал. Жил он это время вяло. Опять чуть в загул не ушел, но тут, к уборке огородов, вернулась Любка. Приехала со стройки похудевшая, закопченная от загара, еще больше глазастая и какая-то чужая, не та, в которую камешками кидать можно. Да не одна приехала, а с типом. Тип ей чемодан во двор внес и до сумерек сидел в доме.

Тип ушел по темноте, и Витька провожал его до самой остановки, присматривался, но не пристал, оробел чего-то. Не то чтобы испугался. Тип был здоровый, правда, чуть потоньше Витьки в кости, но ростом повыше и с белозубой, ничего не боящейся улыбочкой. Витьку как холодной водой облило, что Любка совсем на себя не похожая сделалась. То была прямо родная, а тут что-то в ней появилось новое. И он, Витька, в ухорезе, которого Любка с собой привела, старался эту перемену отгадать, подозревая, конечно, худшее.

Пришел он домой и стал этой переменой мучаться. То порывался идти к Сорокиным, требовать объяснений, но не шел, только яростно чесался и морщил лоб. На следующее утро увидел Любку во дворе, та обруч крутила, развивала, значит, себе талию. Любка тоже увидела его и даже обрадовалась, но обрадовалась, — и Витька сразу это понял, — как человек, все забывший и прошлое сводящий к нестоящему пустяку, оттого что настоящее ему все застит. Поговорили про то, про се. Витька Любку глазами ест, а она ему улыбается, будто насмешку строит.

К обеду приехал на «Жигулях» тот тип, и они с Любкой укатили.

Так и пошло изо дня в день. Придет Любка с занятий, нарядится и упорхнет. И поздно, к полуночи, воровато прожурчит в переулке мотор. Витька выглянет — а они сидят в машине, и чего делают — не понять. Потом хлопнет дверца, рассыплется Любкин смех, и теперь уже победно, не таясь, взревет «Жигуль» и укатит вперевалку по ухабам.

Витька совсем с катушек сошел. Вдруг ворвется к отцу и давай его трясти:

— Батя, давай машину купим!

— Денег нету, — бурчит старик. — Скорый какой— машину!

Витька дернет себя за волосы, выскочит, опять просунется в дверь:

— Давай тогда, — кричит, — мотоцикл купим!

И таращится, будто конфетку ждет. Он все забросил, на работу перестал ходить, днями пропадал у Копцова и все что-то думал. Сидит и шевелит губами, глядя в одну точку и морща лоб. Толкнут его — начинает озираться. В эти дни и Копцов сошел с рельсов — опух, позеленел, и нос у него как будто начал набок заворачиваться. Гулял с ними еще один мужичонка по фамилии Обабков, по-уличному Обабок. У него была манера — считать. Считал все подряд. Сидит, сидит, вдруг поднимет удивленные глаза и говорит: «Ой, братцы, сколько ж я хороших вещей в дерьмо перевел!» И вслух начинает считать: сапог сносил столько-то, пиджаков и рубах столько-то, папирос выкурил столько-то, пищи уничтожил столько-то. Подсчитает и начинает все в рубли переводить, причем считал, собака, без бумажки. Подведет общий итог, изумится цифре и начинает считать, что́ на такую сумму купить можно. Витька, воодушевляясь невиданной обабковской способностью, просил, чтоб он ему посчитал, сколько раз откладывать нужно, чтоб машину купить. Обабок серьезно морщился в потолок, определял, что если по сотне в месяц, то семь лет, а если меньше, то десять лет. Копцов, потерянный и пугливый оттого, что накануне черта видел, тоже задал неожиданный вопрос — сколько ему до Архангельска пешком идти? Обабок и ему подсчитал. Так днями напролет сидели они при зашторенных окнах, бледные и серьезные, считали всякую всячину и разговаривали шепотом.

На четвертый день пришла за Витькой мать и с пла-

чем стала звать домой. Он не противился, пошел, сразу же лег и как в бреду лежал до темноты, окруженный странными видениями, а потом тихонечко вышел.

Вышел и сел на крылечко как раз к тому моменту, когда Любка задернула шторки и погасила свет. Окошко у нее осталось открытым — для свежего воздуха,— и Витька все смотрел на это окошко, а его мягко покачивало, и иногда казалось, что кто-то в ухо кричит. Этот кто-то подходил незаметно и вдруг в самое ухо: «У-у-у!» Витьку бил озноб, но он все смотрел на окошко, разинув рот. Час сидел, второй, потом тихонько поднялся, перелез через штакетник и по палисаднику, не хрустнув, подошел. Отодвинул шторку. Пахнуло сонным дыханием, тихой сладостью. Любка спала, закинув руки за голову, и проскользнувший в окошко лунный луч осветил матовое плечо, коснулся щеки, на которой лежала светлая прядь, прошелся по сверкнувшей из полуоткрытых губ влажной эмалевой полосе.

Витька перекинул ногу через низенький подоконник, тихонько подошел к кровати и присел на корточки. Руки у него дрожали, и, не зная, куда их деть, он спрятал их за спину. Любка во сне шмыгнула носом. Витька от умиления всхлипнул, поймал ее руку с края постели и прижал к щеке. Любка ворохнулась, открыла глаза и, узнав Витьку, дернулась, вырвала руку.

— Люба, пропаду я без тебя... — сказал Витька.

Любка ловила ртом воздух, комкая у горла одеяло. Одеяло потянулось, и из-под него двумя зверьками выпрыгнули маленькие Любкины ноги. Витька, не выдержав, всхлипнул и ткнулся лицом в Любкин скользкий под простыней живот, что-то забормотал неразборчиво. Любка, отпихивая его ладонями, испуганно заговорила подсекающимся шепотом:

— Уходи сейчас же! Уходи, слышишь? С ума сошел, что ли?

— Люб...

— Убирайся!

Витька, не слушая, обхватил Любку, и тут она закричала. Отбивалась от него руками, ногами, кусалась, вертела головой. Вдруг зажегся свет, Витька вскочил и заметался, а Сорокин что есть силы охаживал его кочергой. Старик был яростен, хрипел, брызгал слюной. Любка визжала. Витька осатанел от боли, схватил стул и грохнул старика по голове. Старик свалился, а Витька

напролом бросился из комнаты. Дверь была на крючке, он вышиб ее плечом, вылетел, сломал перильца, прыгнул через хрустнувший забор на улицу, побежал, потом остановился, зачем-то пошел назад, хлопнул себя по лбу и опять побежал.

На улице было лунно, ухабистая дорога светилась. Увидев, что кто-то идет навстречу, Витька пошел шагом. Шел пацан лет пяти, в коротких штанах с лямками. Увидев Витьку, сошел на обочину. Витька прошел мимо, мельком глянув, побежал опять, но тут остановился, заскрежетал зубами, присел и стал мочить в луже зашибленную кочергой руку.

— Дя-а-ады!

Витька оглянулся. Пацан стоял посреди дороги и смотрел на него.

— Ну, чего тебе?

Пацан молчал.

Витька плеснул воды на горячий лоб и, баюкая руку, пошел прочь.

— Дя-я-я-ады! — закричал пацан отчаянно и заплакал.

Витька оглянулся, всматриваясь в темную фигурку, крикнул сердито:

— Ну чего тебе надо?

Пацан молчал, потом заревел. Витька скрежеща зубами, повернулся, пошел к нему. Присел на корточки. Пацан засучил ногами и опять ударился в рев.

— Тьфу ты, пропасть! — выругался Витька и повернулся, чтобы уйти.

— Дя-а-ады! — опять заблажил пацан.

— Да чего ты ревешь? — Витька опять присел на корточки. — Страшно, что ли?

— Ага... — ревел пацан, кулачишком давя глаза.— Соба-а-а-ки...

— «Соба-а-ки!» — передразнил Витька. — А мамка твоя где? Где живешь-то?

— Не знаю, — пацан задыхался от всхлипов.

— Откуда идешь-то?

— Я с автобуса слез...

— С мамкой ехал?

— С ма-амкой...

— Ах ты, мелкота... — Витька подумал, сидя, потом встал, взял пацана за руку, спросил: — Тебя как зовут? Генкой, что ли?

— Лешкой...

— Ну, пойдем тогда, Леха.

Пошел назад, к улице. Пацан семенил рядом, спотыкаясь. У Витьки горячка прошла, только тупо и сонно болела голова. У Сорокиных все окна горели, стояла медицинская машина, слышались голоса.

— Знаешь что, Леха, — сказал Витька, — мы дальше, пожалуй, не пойдем. На скамеечке здесь посидим, а мамку твою потом найдут.

Отошли через переулок, присели на бревнышках. Пацан все дрожал — ночь сентябрьская нежаркая.

— Ты, Леха, залазь ко мне на колени, а то тебя что-то колотит, я вижу.

Леха быстренько залез, свернулся клубком, Витька укрыл его полами пиджака, стал тихонько укачивать. Пацан пригрелся, засопел, высунул голову, покрутил ею.

— Дядь, глянь, — милиция приехала!

— Ага, вижу, — сказал Витька.

Пацан примолк, потом опять засопел, закрутился. Витька его легонько шлепнул:

— А ну не крутись, давай спи лучше, руку мне бередишь, рука у меня раненая.

Пацан притих, задышал Витьке в живот. Витька улыбнулся и, нагнувшись, понюхал вихрастую светлую макушку. Пахло теплом, цыплячьим пухом, пацанячьей беззаботностью.

— Цыпленки мы с тобой, Леха, — сказал Витька.— Мамку потеряли...

Ночь была звездная и бестолковая. У Сорокиных ходили, хлопали дверьми, разговаривали. А когда стало светать, заметили Витьку на бревнышках. Так, со спящим пацаном на коленях, его и взяли.

На собрании

Вечер. Конец недели. В одном из СМУ на окраине города идет производственное собрание. Собрание как собрание, только помещение для него выбрано не совсем подходящее — вагончик столовой, из которого вынесены столы.

Люди сидят тесно, плечом к плечу, кое-кто дремлет, сомлев от духоты, а в дальнем углу, привалясь к стенке, уже совсем откровенно похрапывает мужчина с обветренным лицом каменщика. Соседи пихают его локтями, и тогда он, вздрогнув, начинает удивленно озираться. Замечает сердитые взгляды из президиума и, устыдившись, некоторое время слушает докладчика с преувеличенным вниманием.

За импровизированной трибуной, разложив на ней исписанные листки, удобно и надолго расположился лысоватый полненький плановик. Доклады — его конек. Он может подготовить доклад по любому поводу и вопросу. Квалифицированно и грамотно. Со ссылками, выписками, цитатами, цифрами. Он упивается терминологической казуистикой и логическими построениями. Плавностью перехода от одного пункта к другому. «В текущем году, — говорит он, — наш коллектив справился с заданием третьего квартала по пунктам «а», «б» и «в», отстав по пункту «г» — производительности труда — на пять процентов в сравнении с аналогичным показателем за второй квартал. Анализ резервов показал, что причина отставания заключается, во-первых, в участившихся нарушениях трудовой дисциплины, во-вторых, — в перебоях с поставками сборного железобетона, на основании чего...». Сыплются цифры. Проценты. Проводятся параллели.

Плановик втайне считает, что в нем погиб великий экономист. Он уходит в такие дали, что теряется из виду и СМУ, и тесный вагончик, и запах извести, и угрюмые, усталые лица рабочих. Слушать его тяжело. Он явно не на месте здесь, в этом вагончике. Все это понимают, кроме самого плановика. Ему кажется, что все придавлены его эрудицией. Он снисходителен и слегка ироничен.

За столом президиума, в центре, широко раздвинув

локти, сидит старший прораб Рогачев. Он тоже устал от бесконечного, никому не нужного доклада и слегка злится, потому что время идет, а в повестке еще масса вопросов. Вопросов насущных. О дисциплине, например. Он посматривает на часы и откровенно постукивает по ним пальцем, но оратор ничего не замечает.

Между тем каменщик в углу снова начинает клевать носом, запрокидывается головой, и в отвалившейся нижней челюсти поблескивает железный зуб. В тяжелой, душной немоте вагончика слышится легкий носовой свист.

Рогачев строго стучит карандашом по графину. Каменщик вскидывает голову, озирается.

Слева от Рогачева в президиуме сидит комсомольский вожак — Ирочка Сероглазова. Стол высок, а юбочка на Ирочке коротковата. Штукатур Васька Гурьев, сидящий в первом ряду, смотрит под стол, разинув рот. Ирочка из всех сил натягивает юбку и сжимает колени.

«...В этой связи хотелось бы подчеркнуть роль самодеятельного почина трудящихся, — продолжает оратор, отхлебнув воду из стакана. — Инициатива предприятия в целом складывается из личной инициативы каждого, из ответственности...»

Третьим в президиуме сидит широкоплечий коренастый мужчина в клетчатой рубашке. У него гладко зачесанные назад волосы и немигающие, навыкате, карие глаза. Узкий, как бы зашитый рот. Впечатление это усугубляется его немногословностью. Это Лопарев — бригадир монтажников, передовик, знаменитость. Это феномен. Монтажники в его бригаде, как на подбор, в бригадира, — молчуны. У Лопарева нет прогульщиков, у Лопарева нет пьяниц. При вечном некомплекте в других бригадах, к нему рвутся. Но попасть в эту бригаду непросто. Три года подряд они изо дня в день делают вдвое больше, чем любая другая бригада СМУ. В свое время около трех десятков человек прошли сквозь бригаду, как сквозь сито. Осталось десять. Из них трое приезжают на работу на личных «Жигулях». О них часто пишут. Например, так: «На месяц раньше запланированного срока выполнила производственное задание бригада монтажников Лопарева В. Б. из СМУ...» или «Монтаж нового жилого дома закончили монтажники из бригады Лопарева В. Б.,

перекрыв плановое задание года на 50%» и так далее. Когда случаются перебои с железобетоном, Рогачев звонит на завод и начинает орать, багровея, про план, про ответственность, про обязательства, а директор ЖБИ, в свою очередь, орет на Рогачева: про подъездные пути, простои и нехватку транспорта.

— Черт с тобой, — отступается наконец Рогачев.— Но Лопареву хотя бы дай.

И директор ЖБИ дает Лопареву железобетон.

Однажды бригаду хотели перебросить на недостроенный дом, который необходимо было срочно сдать. Лопарев отказался. Рогачев, разозлившись, кричал, что он снимает Лопарева, что Лопарев зазнался, избаловался, пусть он катится из СМУ туда, где на его художества будут смотреть сквозь пальцы, а он, Рогачев, не будет! Слыханное ли дело, чтобы бригадир сам подбирал себе кадры и устанавливал свои порядки на стройке?!

Лопарев положил на стол заявление об уходе, а вслед за ним положили заявления все его монтажники. Они будут работать только с Виктором Борисовичем и ни с кем другим. Они поедут за ним в Магадан, в Африку, на Северный полюс — куда угодно. Нет, недаром прошло сквозь Лопарева больше трех десятков человек. Он никого не уговаривал. Оставался только тот, кто хотел остаться, потому что Лопарев — это не просто так себе, крепкий мужик, Лопарев — это целая философия. Молчаливая и неброская, но надежная. Работай хорошо. Если не умеешь — учись. Делай то, что говорит бригадир, не пей, помогай товарищу, не лезь не в свое дело. И тогда у тебя будет все. Машина, как у Виктора Борисовича, квартира, как у Виктора Борисовича, деньги, почет, — все, как у Виктора Борисовича. Лопарев никогда не говорил этого, он просто был молчаливым примером для того, кто, устав от мотаний по разным стройкам, несбывшихся надежд и житейской разноголосицы, нуждался именно в такой вот прочной основе, если угодно, — в вере.

Самого Лопарева эта суета вокруг бригады и него самого иногда пугала. Он боялся слов, продпочитал молчать. Пусть говорят другие, пусть думают что хотят. Он был твердо убежден в одном: чем больше человеку платят, тем лучше он работает. В наряды он включал все малейшие движения, требующие усилия. Если в бух-

галтерии начинали «химичить» и выходило меньше пятнадцати рублей в день на человека, он шел в трест и выбивал.

Крепкий такой, молчаливый мужик, Лопарев...

«...Примером того, как энтузиазм, бескорыстная преданность идеалам соревнования могут стать могучим стимулом дальнейшего повышения производительности труда, служит опыт бригады монтажников Лопарева Виктора Борисовича», — говорит с трибуны оратор.

Лопарев внутренне напрягается. Каким-то подспудным чутьем он чувствует, что его, по всей вероятности, принимают за кого-то другого, и выход из этой ситуации один — молчать. Он напряженно вслушивается в слова докладчика, пытаясь отыскать в них намек или подтверждение своим тайным мыслям, но нет, все хорошо...

Рогачев поглядывает на него с неуловимой усмешкой.

Наконец доклад окончен, в вагончике наступает некоторое оживление, и Рогачев стучит карандашом по графину. Начинаются прения. Точнее, никаких прений, все устали, все вскидывают руки, голосуя за формулировки Рогачева. Все идет как по маслу, Рогачев доволен. Но тут просит слова худой работяга в телогрейке с болезненно блестящими глазами на обтянутом кожей скуластом лице. Рогачев недовольно хмурится. Этот худой каменщик выступает на всех собраниях к месту и не к месту, говорит то, чего говорить не следует. Это Сушилин. В вагончике оживление. Сушилина знают как фантазера. Над ним посмеиваются, но и жалеют его.

— Я хочу сказать вот что! — Сушилин ребром ладони рубит воздух. — Тут говорят, что мы, дескать, перевыполнили план и чего-то там добились, но это ведь натуральная же липа, товарищи!

Он с комсомольским энтузиазмом встряхивает головой, обводя вагончик голубыми, неподкупными глазами. Рогачев громко откашливается, с унынием чувствуя, что собрание теперь затянется. Сушилина не уймешь. В вагончике довольный гогот:

— Давай, Сушилин, вставь им пистон!

— Ну загнул, парень!

— Все он правильно говорит...

Сушилин поворачивается к президиуму:

— Вот давайте спросим у товарища Рогачева, стал бы он жить в доме, который мы только что сдали?

— Ты, Сушилин, давай по существу! — Прораб строго унимает шум, стуча по графину. — Что ты имеешь в виду?

— А то, что дома, товарищ Рогачев, строятся не для плана, не для процентов сверхплановых и нашей славы, они строятся для того, чтобы в них люди жили! А как жить в доме, где с потолка обваливается штукатурка, не проведена электропроводка, двери не закрываются и вода не течет? Мы получаем премии, мы кричим ура, а если разобраться — это же надувательство, обман! Как же так, а?

В светлых глазах Сушилина недоумение. Плановик усмехается над этой наивностью. Рогачев хмурится.

— Ведь мы не просто дома строим, мы ведь строим новое общество! — горячится Сушилин.

— Довольно демагогии! — решительно прерывает его Рогачев. — Тебе, Сушилин, я вообще выступать запрещаю. Устроил тут цирк, понимаешь... Если с чем не согласен — пиши. А тут нечего со своими прожектами соваться!

Сушилин под общий смех садится. Рогачев попал в самое больное место. Весь трест знает о странном каменщике, который пишет во все инстанции, предлагая проекты всеобщей, коренной перестройки. Всего. Он предлагает вообще отказаться от денег, не платить зарплату, а выдавать продукты натурой. Продукты и вещи. Сколько наработал, столько получай. Не будет спекулянтов, говорит он, никто не станет заводить кубышку, потому что денег не будет. Его вызывали в трест, с ним беседовали, ему внушали. «Хорошо, — говорил он, улыбаясь. — Вот вы считаете меня идиотом, а я предлагаю: давайте сами подадим пример — откажемся от денег. Вы говорите, что никто этого не поймет, что еще рано, — хорошо, посмотрим, но давайте попробуем, что вам мешает?» Трудно говорить с каменщиком, который на ночь читает Руссо.

Вагончик хохочет. Сушилин сидит, опустив глаза и чувствуя горячие толчки крови в висках. Он не понимает, почему люди не хотят. Почему они смеются и не верят. Почему проекты новых зданий, над которыми он корпит ночами, один за другим возвращаются к нему из разных инстанций. Не понимает, как некий пришелец, живущий в другом измерении.

...В вагончике гул спорящих голосов. Вскидывают-

ся руки, и багровому от стыда Ваське Гурьеву единогласно вкатывают строгий выговор. Собрание окончено.

У выхода они сталкиваются. Лопарев и Сушилин. Сталкиваются на мгновенье, чтобы тут же разойтись.

Лопарев садится в машину и долго выбирается на трассу, петляя меж деревянными домами окраины. Выбравшись, дает полный газ. Он моментально забывает о собрании и вообще о работе. Работа работой, она существует, чтобы обеспечивать все, что помимо нее, Мимоходом подвозит замерзшую девчонку, не глядя, сует рублевку в бардачок. Он собран, немногословен и вежлив.

Сушилин идет по пустырю сквозь летящий свет к автобусной остановке. Ветер мечется меж штабелей железобетонных плит и груд кирпича. На кране со скрипом мотаются незакрепленные стропы, леденящий ветер толкает в спину, лезет за шиворот, но Сушилин не замечает ничего. В его разгоряченном мозгу возникают картины одна другой фантастичнее. Он видит светлые города под легкими прозрачными куполами, смеющихся загорелых людей, странные летательные аппараты, похожие на прозрачных стрекоз... Потом виденье сменяется другим: он на высокой трибуне, а вокруг — море голов, бесконечно уходящее к горизонту. Он говорит, и толпа в едином порыве вскидывает вверх руки, голосуя. Пурга свищет, сечет лицо, Сушилин запинается, вязнет в снегу, но с губ его не сходит улыбка. Он видит силуэты светлых городов, не замечая ни ветра, ни тонкой ледяной струйки, скатившейся за воротник. Он счастлив, да, счастлив.

Тихоокеанское шоссе

Надо было наконец решаться, но все как-то не выходило и, мельком глянув на ее улыбающее лицо, бездумно болтающий накрашенный рот, тем временем как она, поминутно поправляя волосы, откидывая их светлую шелковистую волну за плечо, разглядывала зал, отыскивая знакомых, он опять закурил и, отвернувшись, стал смотреть сквозь высокую, от пола до потолка, стеклянную стену кафе на сумеречную вечернюю улицу в бесконечном людском потоке по тротуарам, в пестром автомобильном мельканье. Проехал кузнечик-троллейбус и в изумленно изогнутом лобовом стекле, где рдел осколок заката, пронес мелькающее переменчивое отражение домов с лепниной и фигурными балконами, толпы и деревьев. Стекло заволакивало тенью, и в нем уже видны были тусклые отражения стеклянных шаров под потолком, ряды столиков сплошь в сиянии фужерного стекла, снующие официантки с подносами, мужские и женские головы, оркестр на возвышении в полумраке перепутанных проводов, никелированном и медном блеске. Все это плавало в сизом сигаретном дыму, пчелином гуле десятков голосов, который вдруг взрывался чьим-то хохотом или звяком уроненного на тарелку ножа...

Тень поднимается с севера, где небо темнеет и становится огромным, нависает над головами, и вот глаза начинают реже моргать, стекленеют, забытая сигарета дымится на блюдце — и мгновенное оцепенение, предчувствие ночи и беспощадного расчета, который почему-то так никогда и не настает, отступая в блеклую серость утра. Но вот теперь, когда воздух становится гуще, плотней и начинается тихое движение теней на пустующих улицах, когда небо пустеет и веет льдом, кажется, что все возможно...

Он встряхнулся, отгоняя оцепенение и, взяв бокал, отпил глоток.

— Может, поедем домой? — Он глянул на нее исподлобья, покручивая в пальцах бокал и как бы пробуя неиспользованную возможность. Их нужно было перепробовать все, чтобы совесть была чиста.

— Ну что ты, милый. Тут так хорошо! — Она опять

отбросила волосы, окинув утонувший в чаду зал сияющими глазами. — А потом, если хочешь, не будем брать такси, а пойдем пешком. Представляешь, — ночь, фонари и мы с тобой вдвоем...

Она положила ладонь на его руку, погладила, царапнула ногтем пожелтевший от табака палец и заглянула в глаза. Потом коснулась пальцем щеки и опустила веки, улыбнувшись.

— Слишком театрально. — Это прозвучало резко, но сдержаться он уже не мог. — Слишком красиво, понимаешь, слишком. Мне не этого хочется... А знаешь, чего?

— Чего же? — В ее глаза вплыла легкая отчужденная настороженность.

...А ты попробуй ей расскажи про свой страх. Расскажи, как в третьем часу ночи ты просыпаешься и лежишь с потным холодным лбом и бьющимся сердцем. Один. И на тебя рушатся дома. Это кошмар, который можно отнести к чему угодно. И еще ощущение тысяч, миллионов глаз. Исступленных и яростных. Всепрощающих и не умеющих прощать. И ощущение вины, которой никак не искупить, хотя непонятно даже, в чем она. Конечно, это нервы. Нервы можно лечить, и от всего этого можно вылечиться. И как-то было — она, вот эта, — лежала на простыне, чуть подогнув колени. Он подошел к окну, отдернул штору, оглянулся и перестал дышать. Клубок воздуха застрял в горле. Но, может быть, это было потому, что она молчала? И потом — поиск. Надежда, что если есть что-то, шелуха постепенно спадет. И вот зарылся в шелухе...

— Ах, ты про это! — Он даже вздрогнул, услышав ее слова: казалось, что она прочитала то, что он думал, но тут же он понял, что улыбается, и улыбка, наверно, известного рода. — Ты придаешь этому слишком большое значение. — Ее лицо стало маской, а может быть, вернулось к исконному, подлинному состоянию, всегда трудно было это понять: что подлинное, а что макияж. И, как вспышка, мелькнуло — игра-перевертыш, кошка играет с мышкой, но и сама мышка играет, потому что чувствует — у кошки нет зубов. Испуг. Хотя это просто мнительность, можно отбросить... А на мгновенье мелькнуло — вот эта тоненькая девочка с раскованным язычком и вольными пристрастиями лет через двадцать — сухая, строгая женщина, председа-

тель родительского комитета или еще какого-нибудь общества; строгая речь, противозачаточные средства, двое детей, полная чаша и муж под каблуком. Но нет, нравственность, безнравственность, понятие о ценностях — не в этом дело.

...Да, вот в чем дело, разве он и впрямь весенний кобель или он входит в некую систему современной молодой женщины, где мужчине отведено то же место, что и таблеткам от головной боли, и вольным, в меру, разговорам, и нарядам, то есть тому, что придает жизни полноту и разнообразие? Попробуй-ка это пойми. И почему вдруг сейчас лед колется и дробится... и вообще хаос мысли, не организованной произнесенным словом, может увести, завести, запугать. Надо слушать и говорить, тогда проще...

...— Ах ты про это! Ты придаешь этому слишком большое значение, поверь мне, так нельзя.

Ударник щеткой прошелся по медным тарелочкам, сиплый голос заговорил в микрофон: «Раз, раз, раз...» Потом кто-то из музыкантов взял гитару, и тяжелое металлическое дребезжание, многократно усиленное, прошло над залом; вдруг появилось ощущение, что эти сиплые парни сейчас начнут бить посуду и разгружать металлолом.

— Милый, нельзя все сводить... — ее лицо чуть покраснело на скулах, — нельзя же все сводить к постели.

— Ну да, для этого ты слишком начитанна...

— Перестань.

— Интеллектуальна...

— Если ты будешь говорить со мной таким тоном...

— Я хочу сказать, слишком хорошо воспитанна. Почему бы тебе не почитать что-нибудь низкопробное?

— Я сама знаю, что мне читать.

— Может быть, тогда мы наконец-то смогли бы обойтись без всего этого.

— Что ты имеешь в виду?

...Я имею в виду разговоры о книгах, которых я не читал, и о фильмах, которые мне не нравятся, потому что рассказывают о человеке, как о бесполом железном существе, которого ударь — кровь не потечет, и еще о картинах, скульптурах; конечно, тряпок у нас теперь достаточно и можно их «презирать», при этом не забывая, чтобы наше презрение не дай бог не было обу-

то в дешевые полуботинки. И еще — выверенный стандарт дозированных эмоций, которые не мешают нам делать свои дела, зато улучшают сон. И еще наше презрение к ценностям и правилам приличия, за которые, однако, пока никого не распяли и не сожгли...

— Треп.

— Я сейчас встану и уйду!

...и без вечной игры, которая все подменяет. Без этой самой активности. Это ведь страх божий — активно поглощать мир, пожирать его, и пропускать через пищевод, и суетиться, и бегать, спорить, доказывая, что небо выкрашено в голубой цвет вовсе не потому, что цвет этот приятен глазу. И без перекачивания воды из реки в болото, потому что нельзя вместо сердца ставить мотор. И без света и тьмы, потому что ум мой, который может объяснить мне многие цвета и устройства, не может объяснить, зачем он мне дан, то ли для того, чтобы я считал зарплату и умел интриговать, завоевывая льготную путевку в Крым, то ли для того, чтобы я смог постичь то, для чего у меня нет ни времени, ни сил, то ли для того, чтобы я терпел это. И даже без...

Глаза ее стали круглыми, а вокруг зрачков появился светлый ободок ярости. Она взяла со спинки стула висевшую сумочку и дернулась встать, но он удержал ее, вдруг почувствовав непонятное облегчение, будто бы, как грозовая туча, вдруг разрядился, высеял дождь и град и вот теперь уходит на восток, облегченно погромыхивая и разносясь в сером высоком небе легчайшими клочьями, сквозь которые начинает сиять умытый месяц.

Не отпуская ее руки, он встал и пересел на стул рядом с ней, обняв и поцеловав в ухо, тронувшее щекотным прикосновением светлой, пахнущей шампунем прядки волос.

Свет потух, загрохотала музыка, в дыму и вспышках света закачались фигуры на пятачке перед эстрадой, стеклянная стена вся была в каплях дождя и черна, на асфальте блестели лужи и цветные пятна светофоров, над изломанным контуром зданий нависали облака, и в холмистой полосе меж облаками и крышами домов было светлей. Он погладил ее спину, и шелк едва слышно прожужжал под ладонью, как шмель, свет мигал, дождь на стекле то возникал, то пропадал, за

грохотом ударника и криком певца ничего не было слышно.

«Не бойся дождя, если у тебя есть крыша над головой, не бойся одиночества, если у тебя есть друг».

— У тебя неприятности сегодня, да? — закричала она, прижавшись к его уху губами. В грохоте и реве музыки выходило похоже на шепот.

— Почему?

— А почему ты такой заведенный?

Глаза у нее опять сияли, алкоголь стоял в них кристалликами, холодноватыми, как искусственный лед. Подкрашенные губы мягко плыли в улыбке, он поцеловал их, потом тронул кончиком языка, ощутив вкус помады. Было темно, тесно и тепло, как в пещере, дым плыл под потолком, разгоняемый лопастями вентилятора. Она положила ему голову на плечо, что-то напевая и пристукивая туфлей по полу. Тепло стройного женского тела тлело рядом, тревожа и грея. Казалось, это кафе сейчас лопнет под напором железной громкой музыки, нагнетаемой в его пространство, как воздух в топку.

— Ты поедешь ко мне?

— Не знаю, милый, смотри — какой дождь, я и зонтик не взяла!

— Давай тогда поцелуемся.

— Давай.

Он еще раз поцеловал теплые расползающиеся губы и близко увидел тонкое, потерявшее все маски лицо, чуть опухшее от внутренней слабости, которая, от вина или от чего другого, вдруг сделала ее покорной, мягкой и простой. Но ничего этого уже не было нужно, нужно было только сделать человека спокойным и веселым. Он погладил ее плечо и закричал в ухо:

— А пойдем пешком, как ты хотела?

Он опять любил ее как никого и никогда, и сейчас любовь эта была осторожной и нежной, хотя и не умела найти ни слова, ни движений, они были грубы и пошловаты, но это, в общем, подходило к моменту, он бы не знал, что делать, если бы с губ сошла эта полуироническая улыбка, которая как будто еще оставляла какую-то дверь, в которую всегда можно было выйти, хлопнув самолюбием. Оставлять себя было страшно, он не знал и боялся того, как она может обойтись этим, голым, потому что и в ее улыбке всегда искал отраже-

ния своей, и хотя сейчас чувствовал, что, может быть, она живет совсем по другим, а не по тем, что он для нее выдумал, правилам, страх не оставлял его. Это было нечто вроде проволочного каркаса, дублирующего ребра, и ничего нельзя было с этим поделать, ничего. Легче было думать и строить человека по своему усмотрению, толкуя его поступки по собственной прихоти, как бы даже радуясь, что мир складывается в понимание и зрение, чем принять его самостоятельность. Это ужаснуло его, но лишь на мгновенье, потому что и в самом деле ничего нельзя было сделать. Нельзя переиначить себя, добиваться своих понятий кровью, по́том, стыдом ошибок и вдруг понять, что они не имеют смысла. Понятия ложны и ошибочны, а мир многообразен, но как же так это понять и как тогда жить? Чем?

— Милый, что с тобой опять? Хочешь, чтобы мы пошли пешком?

«...Если хочешь, можем, правда, пойти. Как ты хочешь. Ночь, фонари, мы вдвоем, и пусть это будет похоже на театр. Это шоссе называется Тихоокеанским, понимаешь? Когда идешь по нему ночью, возникает вдруг удивительное ощущение, будто ты в пути уже давно, давным-давно, с самого детства, все идешь к океану, это шоссе идет к океану, как Транссибирская магистраль, понимаешь? И то, что ты где-то живешь и работаешь в какой-то скучной конторе, это ничего не значит. Может быть, в другие дни, когда ты постигал свою науку и думал, что она вся будет состоять из чистого студенческого воздуха, это выглядело иначе, но потом привык, а еще немного позже начинает казаться (но, может быть, тут влияние?) начинает казаться, что деловая скука и житейское рвачество, без которого никак не обойтись, потому что если на всех делить, то выходят крохи и кому-то постоянно не хватает одеяла, — что все это временное явление, показатель своей хватки, зубов, но это не главное. И мало ли что выдумываешь и ищешь. И это постепенно стирается, стирается с тонкой бумаги, как знаки, начертанные тонким карандашом. И остается странное. Ну как бы тебе это объяснить... Вдруг кажется, что ты все это терпишь лишь потому, что твое положение — это лишь остановка в пути. Временная: ты работаешь в своей конторе, делаешь что-то такое, в чем для непосвященного че-

ловека нет ни смысла, ни значения, — переписываешь бумаги, отсылаешь их, регистрируешь, подшиваешь. Тут важно понять, что смысл именно в этом, — чтобы переписывать, подшивать и отсылать. Если поймешь — ты свой, тебя принимают. Ты куришь в коридоре, болтаешь, рассказываешь анекдоты и смеешься над карикатурами в стенгазете. Потом стоишь в очереди за колбасой, едешь домой в давке и склоках «пика», жаришь яичницу, листаешь журналы, слушаешь, как в квартире под тобой орет телевизор, а в квартире напротив пьяный муж бьет жену и она кричит нечеловеческим голосом. Потом спишь и, если страх и сознание собственного ничтожества не разбудят тебя ночью, встаешь по будильнику и едешь на работу в переполненном утреннем автобусе, чтобы опять подшивать, рассылать, курить, слушать сплетни и так далее. Тут можно много чего наговорить. Но суть не в этом, понимаешь?

Сам себе кажешься командированным на этом месте. Идешь ночью по шоссе, если вдруг приспичит прогуляться, и никого, ни души! Фонари горят, в болоте квакают лягушки, а ты знаешь, что шоссе—до самого океана. И ведь тебе еще предстоит тронуться дальше, ты этого ждешь подспудно и представляешь все города и деревни, поля и березовые рощи, которые тебе предстоит пройти. Мне кажется — мы все такие. Временно командированные. А может, я ошибаюсь.

Как-то, гуляя ночью и думая все о том же, об этой своей идее-фикс, я чуть не попал под колеса «Москвича», который среди ночи несся по самой обочине, как будто охотился за единственным в столь поздний час пешеходом, за мной, то есть. Я успел отпрыгнуть в канаву, а он пронесся, расшвыривая гальку из-под колес и на повороте, где сходились две дороги, вдруг затормозил, развернулся и опять полетел на меня с потушенными фарами и темным салоном, в котором угадывалась темная человеческая фигура. Физически я не очень смелый человек, в детстве во время наводнения прыгал с набережной из одной только лихости, рискуя напороться головой на проволоку или топляк, стрелял из самодельного «жигана», и раз мне разворотило руку, но потом стал как-то осторожней и даже в драки вступаю только при крайней необходимости, когда возможность физического унижения на потеху толпе становится настолько реальной, что ничем другим, как

только кулаками, ее не обойти. ...А тут, сам не знаю, что со мной случилось, схватил какой-то кирпич и пошел на этот «Москвич» как на танк, что было крайне глупо, так как человек, если бы он хотел меня убить, убил бы меня раньше, ему нужно было бы только слегка повернуть руль, потому что я, слыша за спиной тихий гул набирающей скорость машины, шел беспечно, не оглядываясь, и отпрыгнул только тогда, когда на уровне бедра толкнуло воздухом и потом пролилась струя лакированного железа, заряженного скоростью и непонятным неистовством. ...Пошел с кирпичом и в результате познакомился с милейшим кандидатом наук, который, бледнея, мучась, страдая, исходя запоздалой интеллигентностью, просил простить его за невнимательность. И объяснил мне, что когда ему бывает плохо, он гоняет по этому шоссе со страшной скоростью, но не смерти ищет, а какого-то поворота в мозгу, провоцирует свои бедные замученные мозги.

Мы выкурили по сигарете, поговорили о том, какие странные вещи случаются иногда ночью, и вдруг, поймав его печальный, тоскующий взгляд, я понял, что он из той же породы. Шоссе лежало перед нами желтой, прорубленной в дебрях ночи просекой, и мы тихонько разошлись, пряча глаза, мучимые одной и той же мыслью...»

Она кричала ему в ухо, едва слышно за грохотом музыки:

— Пойдем? Уже расходятся.

Он вздрогнул, очнувшись, и увидел, что половина столиков пуста, официантки убирают посуду. Их лица под включенным светом казались сердитыми и помятыми, будто спросонья. Вечер прошел какими-то скачками, он не успел его заметить, казалось, из времени вынули несколько отрезков, в которые он собирался подумать о чем-то важном, но так и не подумал, и вот надо уходить. Он посмотрел на нее, вдруг подумав, что же она делала в этом времени, которое для него вдруг исчезло? Лицо ее было разгоряченным, и он глупо спросил:

— Ты что, танцевала?

— А ты забыл? — Она рассмеялась и опять его затормошила: — Ну пойдем, ты второй час таращишься в это окно как приклеенный.

— Я еще немного посижу.

— Один? Что за капризы!
— Еще немного посижу один, ты иди.
— Ну как знаешь. Ты вообще странный сегодня!

Она надула губы и встала, захватив сумочку. Он проводил глазами ее спину. В дверях она, не выдержав этой наигранной неприступности, оглянулась, он помахал ей и улыбнулся. Музыка кончилась, и сразу стало слышнее шарканье ног, разговоры, звяк посуды. За стеклом стояла черная ночь и в нем, как в зеркале, отражался весь зал. Он поднял бокал, и отражение приветствовало его. С ее уходом все стало легче и проще, многие вещи вдруг отпали сами собой и потеряли всякое значение. Он сморщил губы, сдерживая улыбку, он не понимал, что с ним происходит и почему ему так просто, понятно и легко. Вдруг он перестал слышать звуки, все они слились в монотонный гул, в котором нельзя было различить слова; казалось, его несла река, и вдруг он нащупал под ногами дно, и вот мир побежал мимо него в хаотическом шуме своих беспорядочных движений. И все это сразу перестало волновать, потому что шло, двигалось другое, не ощущаемое ни слухом, ни зрением. Что же это было? Он не знал, но, стараясь постичь, весь ушел в это, шестое ли, седьмое чувство, совсем перестав ощущать себя, не чувствуя даже боли в прижженном горящей сигаретой пальце.

На что же это походило?.. Он будто бы это слышал и теперь искал отдаленную ассоциацию, которая могла бы дополнить ощущение, заострить и дать дополнительный толчок.

...Да, может быть, именно-таки тогда, когда надо было подниматься по длинной мраморной лестнице, покрытой красным, чуть вытертым ковром, мимо статуй, гипсовых горшков с цветами и зеленью, сусального золота бра и медных завитушек на вычурных перилах. И вот кто-то, отдав поклон, с церемонной важностью распахивает тяжелую дверь со сделанной в виде дракона медной ручкой, — и сразу пыльная духота, полумрак, бархатная обивка кресел. Одна за другой гаснут в люстре электрические свечи, и полутьма начинает переливаться и мерцать отражением горящих на рампе лампочек в сотнях блесток, похожих на маленькие зеркальца. Притихает заунывный разнобой скрипок, откашливание, звук передвигаемых стульев,

с тяжелого занавеса стекает в зал бархатная величественная тишина, и вот под негромкие аплодисменты выходит дирижер, раскланивается, поворачивается к пульту и, предостерегающе постучав палочкой, раскинув руки, какое-то мгновение замирает, и вдруг — взмах, который повторяют фалды фрака и вслед за этим движением, одновременно с ним, резкий, сабельный взмах смычков, и первый аккорд, взвинтив воздух, на какое-то мгновение замирает, зависает, как балерина, исполнившая трудное па...

Он поднял бокал и еще раз отсалютовал отраженному в стекле пустому залу с одинокой фигурой двойника. Теперь он знал, что нужно делать...

Конфуз

Елисеев Павел Григорьевич без дела сидеть не любил, хотя уже год как находился на пенсии. Сидеть сложа ручки — это было не в его натуре. Первое время, выйдя на пенсию, а работал он заведующим клубом, он скучал, места себе не находил и по ночам спал плохо, ворочался, но потом наладил контакт с районной газетой, которую редактировал его хороший знакомый, и все пошло как по маслу, в жизни опять появились цель и смысл. Он накупил массу пособий для рабселькоров и по вечерам, надев очки, тщательно их штудировал, шевеля по-стариковски губами и насупив кустистые седеющие брови, уяснял для себя разницу между очерком и, допустим, корреспонденцией. Жена, тоже пенсионерка, ему в этом не мешала, она целыми днями возилась на огороде, пропалывала огурцы, поливала клубнику, пасынковала помидоры, все что-то собирала, молола, варила, закатывала в банки. Павел Григорьевич это ее занятие презирал, считал бросовым, но варенье любил.

Вечера они проводили у телевизора, и Павел Григорьевич имел привычку вслух комментировать происходящее. Жена зевала и украдкой крестила рот, на что он неодобрительно супился, не раз и не два проводил с ней разъяснительную работу, но так ничего и не мог ей втолковать, — как женился на ней, будучи уполномоченным по кукурузе, уже в зрелом возрасте, так все с ней воевал по поводу ее религиозных замашек. Но, в общем, жили они мирно. У жены от первого, погибшего на войне мужа был сын и раз в год навещал их с семьей, у Павла Григорьевича никого не было.

Часу в одиннадцатом, если дело было летом, а зимой раньше, жена поднималась и, охая, вперевалку уходила в спаленку, душную от перин, половиков и нафталина, которым щедро пересыпались коврики и костюмы Павла Григорьевича, и там долго ворочалась на высокой кровати с пятью подушками одна другой меньше, зевала и охала. А Павел Григорьевич, досмотрев программу, на цыпочках уходил в кухню и, разложив перед собой тетради и несколько остро отточенных карандашей, нещадно дымил папиросой и супился,

готовясь приступить к процессу бумагомарания, каторжному, но и приносящему особую, значительную радость, когда заметка в готовом виде появлялась в газете со скромными его инициалами внизу.

Писал Павел Григорьевич всякие заметки, часть их появлялась среди писем, которые газета регулярно публиковала, поставив на обсуждение какую-нибудь проблему — об озеленении, например, или о поселковом транспорте, то есть о двух маршрутных автобусах, которые ходили безобразно и никакого расписания не признавали. Еще его публиковали в рубрике «На темы морали». При этом нельзя сказать, чтобы Павел Григорьевич был очень уж моралистом, нет, делал он это скорее по обязанности, так как многие годы проработал в культпросвете и привык, что молодежь надо воспитывать. Его больше привлекало писать о недостатках. Недостатков в последние два года открылось столько, что это даже вызывало некоторое недоумение — куда раньше смотрели? И вообще, Павел Григорьевич чувствовал в себе задатки правдоискателя. Раньше, пока работал, заниматься этим было некогда, но теперь, когда уже никому это нанести ущерба не могло, можно было взяться и за правду.

«Да, — думал он иногда, — проглядели, проморгали, надо выправлять положение, чтоб не дать повод врагам, потому что — империализм. Увлеклись, замешкались, пропустили. Головокружение от успехов. Искоренять надо. Железной рукой!»

У него вдруг появился какой-то молодой задор все переменить, немедля перестроить, указать каждому на недостатки, но в общем-то это было непривычно и даже как-то не по себе, и он ограничивалсся покуда мелочами, но и в них уже, бывало, загибал. Так, написал, что у бабок, которые торгуют у автовокзала малиной и луком, руки вечно немыты, продукты санитарным врачом не освидетельствованы и от этого неизбежны холера, дизентерия и прочие пакости, что давно пора строить крытый рынок, где с удобствами, защищенные от стихии, могли бы расположиться жители окрестных деревень, чтобы по приемлемым ценам снабжать посельчан овощами, фруктами и соленьями. Почти всю заметку редактор перекрестил красным карандашом, бормоча: «Ну, тут ты, Павел Григорьевич, загнул!» Сокращенная заметка вышла под названием: «Пресечь спекуляцию!»

Дня через два Павел Григорьевич с удовлетворением наблюдал, как милиционер гонит с вокзала бабок вместе с их вареной картошкой в газетных кульках, малиной и луком. Бабки ругались. Павел Григорьевич подошел и, супя брови, сказал:

— Что вы шумите, женщины? Есть установленное место для торговли, идите туда и там торгуйте.

— И-и-и-и, милы-ы-ый! — протянула одна ветхая бабка в черной юбке, черном платке и темной, в белый горошек, кофте. — Кто ж туда придет, а тут же люди ездят, йисты хотят!

— Все равно непорядок, — сказал Павел Григорьевич и отвернулся.

Конечно, бабка была по-своему права, но права както примитивно, не было в ее словах высокой цели, так, сиюминутная польза, забота о личном. Вообще, Павел Григорьевич замечал, что человеческие истины часто идут вразрез с общественными нуждами и что, конечно же, человека нужно воспитывать. А так все было довольно расплывчато — кому верить? Тут выручали газеты, которые Павел Григорьевич читал ежедневно. Он даже имел собственное суждение по этому поводу, что человек бывает прав от незнания, а, следуя большой идее, иногда ошибается, но эти ошибки поправимы; значит, если человек не понимает собственной пользы, следует его воспитывать, подталкивать, может, когда и действовать наперекор его желаниям и понятиям, потому что правда должна быть для всех одна, а которые знают только свое и о своем твердят, таких тоже надо воспитывать, исправлять.

Но вот кто будет воспитывать, подталкивать и поправлять? Тут Павел Григорьевич был скромен и себе никакой такой роли не приписывал, но участие в полезном и важном деле, воспитании масс, его как-то приподнимало, и он даже позволял себе на некоторые человеческие недостатки смотреть хоть и строго, но снисходительно, сделав вывод, что недостатки эти идут от безграмотности и бескультурья.

На особом счету у него была молодежь, которую Павел Григорьевич, как многие пожилые люди, ревниво недолюбливал. Он считал, что, во-первых, обучение должно быть раздельным, и во-вторых, трудовым. «У нас вот ни магнитофонов этих, ни мотоциклов не было, — думал он, — в дырявых лаптях ходили, с мало-

летства работали, лишнего не болтали, зато какая польза впоследствии получилась!» Несколько заметок он написал и на эту тему. Вообще, под старость он стал чувствовать себя ответственным за все, что происходило в поселке, хотелось во все вмешаться, подсказать, подтолкнуть нерадивых, но ему этого было уже нельзя, не положено по его вольному положению, а дисциплину он всегда уважал и в то, что не положено, не вмешивался, хотя многое не одобрял и через газету высказывался бескомпромиссно.

Вот так он и жил, пока не случился с ним один инцидент.

В то утро он проснулся как всегда рано и, пока умывался во дворе, жена поставила ему на стол простоквашу с булочкой и стакан малины — обычный Павла Григорьевича летний завтрак. Он с удовольствием покушал, потом посидел на крыльце, покуривая первую на сегодня папироску и слушая, как в промытой ночным дождем листве черемух, уже обильно увешанных чернеющими гроздьями, колготятся и кричат воробьи. Выкурив папироску, он помог жене накормить поросят, вымыл руки, надел рубашку с короткими рукавами, шляпу, прихватил папку, в которой лежали тетради, карандаши и прочие нужные вещи, и отправился в центр.

День был хорош, пыль всю прибило, дышалось легко, дома тут сплошь были деревянные, только в конце улицы, у маслозавода, стояло два двухэтажных дома. Павел Григорьевич с неудовольствием покосился на захламленные балконы, на одном из которых даже мекала коза, задрав голову на перила и свесив бороденку, и взял на заметку этот факт бескультурья. Потом, не по нужде, а из принципа, постоял на автобусной остановке, где кроме него никого не было, но автобуса так и не дождался и пошел на автовокзал, который был рядом, в двух шагах. Там он потолкался в зале ожидания, разглядывая всякий приезжий народ, напился воды из цинкового бака, к которому была цепочкой прикована кружка, заглянул в буфет, купил в киоске «Союзпечати» областную газету и две центральные и, сев на скамейку в скверике, все их прочел. Читал Павел Григорьевич тоже основательно, не как иные, что сразу переворачивают газету четвертой стороной, нет, он прочел доклад на первой, потом новости

экономики, международные известия, потом добрался до фельетона и кончил тем, что прочитал сводку погоды и посмотрел на небо. В газете писали про облачность, а на небе не видно ни облачка, но это было к лучшему, он даже улыбнулся, поглядывая над очками на прохожих, и подумал, что вот всегда бы так оправдывались прогнозы.

В последнее время он открыл для себя новую область — юмор, даже отправил в сатирический журнал небольшую такую штучку, где все эти прогнозы пародировались, несколько старомодно, правда. Так, Павел Григорьевич писал, что если в газете пишут «без осадков», то необходимо захватить с собой зонтик, потому что отсутствие осадков еще не гарантирует отсутствия дождя. Пожалуй, это было неуклюже, как-то, без блеска, но для пробы годилось. Ответа он пока не получил, но, случалось, — мечтал и строил кое-какие планы, тут же, впрочем, себя одергивая.

Прочитав газеты, Павел Григорьевич аккуратно сложил их в папку и отправился в читальный зал районной библиотеки, откуда вышел уже во втором часу — листал разные пособия, делал выписки, ну и так далее. Час был обеденный, но перед обедом еще следовало зайти в редакцию газеты. Путь туда лежал через парк культуры и отдыха, и Павел Григорьевич пошел, по пути продолжая делать наблюдения. Конечно, дорога дрянь, вся в выбоинах, дома вокруг тоже давно требовали ремонта, и много было кругом праздношатающегося народа далеко не пенсионного возраста. Вот идет молодая женщина, переваливаясь под тяжестью сумок, за ней семенят двое замурзанных ребятишек, облизывая мороженое, и Павел Григорьевич с неудовольствием подумал, что ведь наверняка — колхозница, в будний день сбежала в райцентр за покупками и, небось, сказалась какой-нибудь несуразной причиной. У магазина стояло несколько грузовиков, один был даже груженый, и на ступеньках, покуривая, сидели мужчины.

«Двух часов ждут, — подумал Павел Григорьевич, — вот ведь народ, ничего на них не действует! Водки нет — всякую дрянь пьют, как будто специально, чтоб скорей себя доконать. И, скажи, в чем же дело? Ну ладно в войну, когда жизнь была тяжелая, холод, голод, страхи всякие, а теперь-то почему? В магазине все есть, конечно, не все, но основные продукты

питания всегда на прилавке, одежда тоже, да и вообще, нет чтоб вечером в парк пойти, культурно провести время... Отчего это все? От недостатка грамотности или от ее избытка?»

Он подумал, подумал, но так ничего и не решил и свернул в парк. Павел Григорьевич любил здесь ходить. Тут стояли статуи девушек с веслами, спортсменов. «Вот она, наша молодежь!» — подумал он, с удовольствием разглядывая их жизнерадостные лица, аккуратные прически и кряжистые сильные формы, — что называется, готов к труду и обороне. Девушки — будущие матери, юноши — будущие рабочие и колхозники. В здоровом теле здоровый дух. Еще стояли статуи пионеров, отдающих салют, с развевающимися гипсовыми галстуками, гипсовые вазы, в которых ничего не росло, и плакаты с портретами передовиков производства.

А на скамейке под одним из портретов сидели двое в грязных спецовках. Один лет двадцати, другой постарше. Прямо на скамейке у них была расстелена газета, на которой лежали огурцы, помидоры, лук, буханка хлеба и стояли две кефирные бутылки. И это в парке! Оба неумыты, руки в мазуте или в масле и говорили так, что уши вяли, при этом оба еще и хохотали, поминая какую-то Зинку. У Павла Григорьевича потянуло губы, что было вернейшим признаком раздражения, он уже почти прошел мимо, но тут тот, что помоложе, отломив от буханки ломоть, чуть куснул его и швырнул под ноги. И Павел Григорьевич не стерпел.

— Да вы совесть-то имейте!— крикнул он, полуобернувшись к парням. — Что ты под ноги кинул? Ты что кинул, молокосос?

— Ты что, дед? — примирительно сказал старший.— Ты что завелся? Сидим, обедаем, никого не трогаем, мы шофера, в рейсе, а столовая у вас на обед закрыта.

Может, тем бы дело и кончилось, но Павла Григорьевича понесло. Эти двое сейчас олицетворяли для него все бескультурье и хамство: в грязных спецовках притащились прямо в центр! Он побагровел и заорал на них:

— Что, что! А то! Тут женщины и дети ходят, а у вас мат на мате! Хлеб под ноги швыряете, а вы знаете, как он достается? Во время войны люди с голоду пухли, а вы сейчас его ногами топчете, вот взять бы

да по роже этим хлебом, по нахальной по твоей, может, хоть тогда бы уважать научился. Иждивенцы!

Тут молодой вдруг резко встал со скамейки, подобрал ломоть и сунул Павлу Григорьевичу прямо в губы.

— Голодный?— сказал он со сдержанным бешенством. — Ну на, жри, если голодный! Ну! Ешь!

Павел Григорьевич отбил руку, и хлеб отлетел на асфальт. Выходило как-то неловко.

— Да вы что себе позволяете! — он отчасти даже испугался, потому что в глазах молодого полыхало бешенство. Это был рыжеватый коротко стриженный парнишка, курносый и в конопушках, глаза у него были светлые, почти прозрачные, а сейчас прямо светились. Парень схватил со скамейки буханку и с силой стал пихать ее Павлу Григорьевичу в рот, приговаривая:

— Ну жри, жри, сука, если тебе мало! Это я иждивенец? Ешь, падла, задавись! Ты его сеял? Ты его убирал? Ты его пек? Так что ж ты лезешь?! Что ты к людям лезешь?! Слова умеешь говорить?! Умеешь! А мы на тебя вкалываем, и еще ты же нам указывать будешь, как жить, что делать! А кто ты такой? Ты где такую ж... наел, а? Паскуда! Начальничек, да видал я вас таких! Над людьми воду варите, суки, вздохнуть не даете!

Тут второй встрял меж ними, стал отталкивать рыжего, который, размахивая буханкой, рвался к Павлу Григорьевичу.

— Ты мне за это ответишь, сопляк! — орал Павел Григорьевич, побагровев. — Я тебя в милицию!

— Давай, давай! — У парня дергался рот, он все рвался, а товарищ оттаскивал его за спецовку, улыбаясь и приговаривая:

— Да ты чо, Серега? Да успокойся ты!

— Я-то спокоен! Я споко-оен! — кричал парень.— Он мне войной в глаза тычет, сука! А ты знаешь, что такое война? Гладкий какой кабан! Ты думаешь, он воевал? Да он по тылам огинался, лучшие люди в окопах головы положили, а они, вот такие, отсиделись, живые остались, каждые пять лет медаль получают! У меня медаль одна, да она честная. Я на уборочной от света до света, а он меня будет про хлеб учить, падла! И я еще иждивенец! Я?!

У парня задергалось лицо, в глазах встали слезы,

и он, отпихнув от себя второго, пошел к скамейке, сел и трясущимися руками стал шарить по карманам. И Павлу Григорьевичу почему-то стало вдруг неловко, будто он сделал что-то не то. Но он не мог отойти от обиды и все еще орал:

— Я сейчас участкового позову! Чтоб упекли вас, хулиганье!

— Да вы не обижайтесь на него, — примирительно сказал тот, что постарше, ухватив Павла Григорьевича за рукав. — Он год как из Афгана, нервный.

— Вы мне морали не читайте! — резко сказал Павел Григорьевич и, вырвав руку, пошел по аллее назад.

Вслед ему полетела кефирная бутылка, он вобрал голову в плечи и пошел быстрее, боясь, как бы не попали в голову. С этого рыжего станется — бешеный!

За парком он остановился, тяжело дыша и кипя злостью, направился было в милицию, но на полдороге остыл и передумал. Неловко было как-то. Если б еще не убежал, а задержал бы...

Самое обидное — что парень как в воду глядел: не удалось Павлу Григорьевичу повоевать, всю войну он прослужил в охране военных складов по причине плоскостопия, гастрита и разных других болезней. После демобилизации закончил курсы и работал уполномоченным, культработником, завклубом, то есть действительно не пахал, не сеял. Вообще-то он втайне, даже от себя скрывая, думал, что ему в жизни повезло, потому что он хорошо помнил опустевшие послевоенные деревни, грязь, нищету, голод сорок шестого года, карточки, но, в общем, что ж на это сетовать, судьба у каждого своя, и что ему так выпало, он виноват не был. Выжил и не спился, как многие, и болезни залечил, а этот парень кричал так, будто все это было за счет других, у кого все сложилось иначе. Да и не мог он, конечно, ничего знать, этот парень, так орал, что называется, от балды. Но теперь ему казалось, что и люди на него смотрят по-другому, осуждающе. Ну а хлеб, что хлеб? Он же не сам выдумал, об этом в газетах писали, а он читал. Да, и тут была неувязка, хоть он сам всегда бережно относился к продукции сельского хозяйства и жену наставлял, однако же, видел, видел, что картошка сплошь да рядом гниет в овощехранилищах, что тот же хлеб, если залеживается в магазине, списывают свиньям на корм и что уж тут, если

по правде, заботиться о куске, если тонны пропадают...

Во всех этих рассуждениях была правда, но, опять-таки, мелкая, житейская, без полета, перспективы и идеи. Да и парни, как видно, сидели ждали двух часов, то есть — обыкновенная деревенская пьянь. Но и от этого легче не стало. Ладно, парни-то пьянь и слова их ничего не стоят, пусть сначала бросят пить, перевоспитаются и подтянут себя в идеологическом и культурном плане, но он-то, он-то сам! Таких пощечин Павел Григорьевич никогда еще не получал и страдал нравственно и физически.

В редакцию он не пошел, сразу отправился домой и там накричал на жену за какой-то пустяк, что с ним случалось крайне редко. Попробовал лечь поспать, но не вышло, все лез в голову этот парень в грязной спецовке, с бешеными светлыми глазами, и Павел Григорьевич злился: «Сопляк! Мальчишка! Вот так их воспитали! Вот так смену себе вырастили!» Но и это было не то, и в голове царила белиберда. Он пробовал было написать заметку по этому поводу, но никак не мог придумать, с чего начать. Стал перебирать в памяти происшедшее, и тут его осенило, что они попросту приняли его за другого, тот-то мальчишка кричал на него «начальничек!» Значит — приняли за должностное лицо и законно возмутились, что во время обеденного перерыва им делают указания. Конечно, обед — дело святое для рабочего человека, а тут кто-то подходит и начинает указывать. Тем более — страда, недосып, нервы. Они его не поняли, им надо объяснить, растолковать, потому что такая злоба, даже ненависть, — они до добра не доводят, нужно быть терпимей, добрее к людям, даже если они и ошибаются, или там, не могут сдержать себя.

Так думал Павел Григорьевич и, все больше воодушевляясь, принялся писать. Название пришло сразу: «Ответ молодому человеку». Некоторые несущественные и нецензурные подробности Павел Григорьевич опустил и ухватил самое суть — невежливые и опрометчивые высказывания парня и писал как бы от лица поколения, все больше употребляя слово «мы». «Нет, молодой человек, — писал он, — с такими мыслями далеко не уедешь, даже общественно полезный труд не может оправдать ваших антиобщественных действий, нет никакой пропасти между поколениями, нет началь-

ников и подчиненных, все мы — одна большая семья, в которой, как и в любой семье, есть старшие и есть младшие, и где у каждого свои обязанности, это и есть та правда, которая создается нашим общим трудом, каким бы он ни был, а кичиться своей принадлежностью к рабочему классу, который справедливо определен в нашем обществе как класс-гегемон — это нехорошо, нескромно и ни в коей мере ваших действий не оправдывает».

Пока писал — нравилось. Потом перечел — разонравилось. Из чисто этических соображений, чтоб не оскорблять читателя, он не стал повторять слова, которые тот парень употреблял, большей частью матерные, и о своем бегстве не упомянул, и общее ощущение было кислое. Не то, не то... Все же он переписал заметку набело и отправил ее по почте, чего, в общем-то, никогда не делал. Дня через три, когда вышел очередной номер, он стал жадно искать на страницах свой материал, чего-то боясь и смущаясь, но не зашел, а потом вдруг увидел свою фамилию под заметкой, которая называлась: «Бережливость — норма жизни». Он стал читать. Заметка начиналась так: «В эти напряженные дни, когда идет битва за урожай, с особой остротой стоит вопрос о бережном отношении к хлебу. И все меры принимаются, механизаторы стараются провести уборку с наименьшими потерями, на дорогах выставлены посты, которые следят за тем, чтобы асфальт не «засевали» зерном нового урожая, и в то же время находятся еще люди...» Он глазам своим не поверил. Речь шла о том, что парни в рабочее время играли в парке в футбол буханкой хлеба. Явная ложь! Павел Григорьевич взбесился. К правке он относился терпимо, и когда его заметки резали, считал, что специалистам виднее, но тут! Ведь не о том же он писал, не о том шла речь! Он впервые испытал приступ злого, опустошающего бессилия. Хочешь сказать о том, что ты видишь в жизни, о том, что тебя тревожит, а они холодной рукой режут и заставляют тебя говорить то, что нужно им. Точнее, говорится то, «что нужно всем», но кто же у всех спрашивал? Вот у него ведь не спросили — что ему нужно! Перекроили, изменили заголовок, выкинули все рассуждения, да еще его фамилию под этой нелепицей поместили — его, а не свою,— хотя это не его мысли, не об этом он хотел сказать!

Почему так? Почему за него говорят?! Кто позволил?! Что он, совсем уж винтик-шпунтик, болванчик деревянный?!

В общем, он страшно разнервничался, еще и потому, что вспомнил того парня, и опять выходило, что он прав — этот молокосос!

В редакцию он заходить не стал, а позвонил редактору.

— А-а-а, Григорьевич! — сказал тот. — Ну что ж, брат, растешь, прямо на глазах растешь! И слог и мысль! Ну, я у тебя там разные сопли поубирал, зря это ты, пожестче надо с ними.

— Слушай, да я ведь не о том хотел сказать! — перебил его Павел Григорьевич, сдерживаясь. — Там хлеб только повод был, предлог, мелочь.

— Ка-а-ак это — мелочь?! Нет, это, знаешь ли, не мелочь, если каждый будет так буханкой швыряться!— И редактор понес обычное, не раз читанное, уже с железными интонациями в голосе.

«Да он же все знает! — вдруг поразился Павел Григорьевич. — Знает, что валки на полях прорастают, что зерно в кучах под дождем мокнет, что техника в безалаберном состоянии, а сам на этих пацанов громы и молнии мечет. А почему? Что же — совсем дурак? Да нет ведь, просто тут наверняка, тут никого не зацепишь, не потревожишь. А если критику разводить, в области, конечно, похвалят за принципиальность, а свои, районные, могут и поприжать. Тут ведь — ты нас не тронь, и мы тебя не тронем. Но ведь сколько веры в голосе, гнева! Сам себя убедил, сам себе на горло наступил ради пользы, ради того, чтобы людей не тревожить, у них-то не спросся...»

Павел Григорьевич бросил трубку. Ему теперь почему-то захотелось увидеть того парня и поговорить с ним. Странное, дикое желание! Но вот хотелось, и все, откровенно поговорить, — а с кем, не знал. Не было у него таких знакомых. И ему было за этого парня тревожно, хотя, конечно, зол он был на него страшно. Вот так взять и в глаза сказать то, что думаешь сам, не боясь ошибиться, не заботясь о последствиях, не боясь милиции и общественного порицания...

А может, так и надо? Не боясь, что кому-то не понравится, что ты чего-то не понимаешь, не знаешь всей правды, которая только сверху видна? Он пошел в

парк и, сидя на скамейке, долго смотрел на постамент, который одно время, как он помнил, пустовал, и теперь на нем стояла гипсовая ваза с землей и ничего в ней не росло.

«Неужели жизнь прошла зря?» — с тоской подумал Павел Григорьевич и решил написать обо всем честно в центральную газету.

Путина

Повесть

1.

Всю ночь над лесом и рекой небо звенело тонко и нежно — льдинкой в стакане, заблудившимся журавлем... Облака ползали туда-сюда, погромыхивали, огрызались. Лес стоял молча, тяжелый, сырой. Сонная трава шелестела :«Что? Что?». А небо кричало и пело, то притихало, будто во что-то вслушиваясь, то опять начинало метаться, полыхая зарницами, говорило вскрикивало, трясло колокольцами, орало, потрясая кулаками; все слабее, слабее, а потом умолкло совсем и, посерев от бессонницы, утомленно потекло вниз, по ветвям и коре, под лопухи и папоротники, ближе к теплой спросонья, глуповатой земле, где трудно и слепо, будто замерзшие пальцы, шевелились уже, просыпаясь, корни деревьев. Речка послушала, вздохнула тихонько, замерла, послушала и побежала себе, забубнила по-своему, по-хозяйски расталкивая голыши. Прошуршал ветерок, ветки шевельнулись, стряхивая капель, целящимся глазом открылся на востоке рассвет, и опять все стихло. Потом земля густо запарила, туман окутал деревья и лег, придавив листву, зажимая ей шелестящий рот. Замер лес, тускло забренчала капель и утренней слезой побежала по стволам, вниз, вниз; речушка взбухла, хохотнула, прошлась по ивнякам, как погладила, побежала, завиляла в тумане, недовольно вскрикивая и бранясь, побежала, запинаясь о голыши, сворачивая, возвращаясь, бранясь, вырывалась из парного, белого леса и, широко вздохнув, вошла в залив, растекаясь, ленясь, засыпая. Залив наподдал ей волной: «Куда, шуш-ш-шера?» Из-за мыса в заливе выплыл пароход с высокой трубой, загудел и гудком пробил дыру в оцепеневшем воздухе. Туман со свистом втянулся в нее, разорвался, поплыл белыми облачками, закудрявился в синеве.

А из тумана возник Одноухий...

Он стоял у самой воды, под развесистым ивовым кустом, подняв тяжелую башку со свалявшейся бурой бородой на горле и черным пятачком носа водил из стороны в сторону, втягивая плывущие над рекой запахи.

Над водой летели рваные клочья тумана, желтая вода закручивалась в водовороты, вспухая шапками грязной пены, несло щепу, лесной сор, сухие коровьи лепешки. Воздух был взбаламучен и пестр. Мычали коровы на ферме чуть выше по течению, по-утреннему хрипло, недовольно, взревывал движок на рыбзаводе, глох, опять принимался кашлять, стреляя надсадным, буравящим ухо выхлопом, глох, и в такт ему ругались мужские голоса. Перекликались доярки, и тоненько бренчало железо. Блуждающими потоками возникали вдруг неведомо откуда занесенные голоса, прерываясь на полуслове, далекие шумы, и даже послышался вдруг над рекой трамвайный звонок, блуждающим призраком залетевший из далекого города. Голоса и шум возникали в плотном утреннем воздухе со всех сторон. Кто-то под самым носом у Одноухого вдруг сказал: «Саша», рассмеялся, и тут же застучали чьи-то каблуки по асфальту.

Медведь нервничал и то и дело крутил башкой, недоуменно порыкивая. Голоса возникали со всех сторон, воздух раздражал Одноухого. Воздух был суетлив и неспокоен и пах железом, коровами, мазутом. Воздух был сломан и пах несуразицей. Эта земля опять сменила кожу, и он не узнавал ее. Казалось, он заблудился и пришел куда-то не туда незваным гостем. Все вокруг было опять чужое — тропинки легли по-другому, река сменила цвет, голоса, похаживая вокруг, кричали о подмене. Но речка все равно была его, потому он и пришел сюда, как приходил много лет подряд, каждую осень, когда шла из океана на нерест кета. Он был слишком стар, чтобы менять ее. И слишком упрям.

Неподалеку от обмыска, где стоял под ивой Одноухий, проснулись в палатке два рязанских браконьера, приехавших на Сахалин за икрой. В палатке вдруг заворочались, закашлялись, остренько запиликал включенный приемник, и один из браконьеров, пожилой, вылез наружу, позевывая. Он встал у реки и пустил в воду тугую струю, зверски выворачивая в зевке челюсть и почесывая свободной рукой затылок. Позевал, позевал, потом застегнулся и полез в палатку досыпать.

Солнце высунулось из-за леса, и длинные тени деревьев, ночные их призраки, спасаясь, прыгнули в реку, в холодок. А река текла, и мотыльки вычерчивали над ней кружевной узор. Медведь тронул воду лапой, отдернул ее, низко опустив нос, посмотрел на свое бегучее

отражение, склонил голову набок, рявкнул на всякий случай и вошел в воду. Она зажурчала вокруг лап, приятно захолодило брюхо и пах, и Одноухий постоял, жмуря глаза и чуть оскалясь. Потом пошел потихоньку, и когда его оторвало от дна, задрав голову, поплыл, неуклюже, но сильно работая лапами. Выйдя на противоположный берег, он отряхнулся, превратившись на мгновенье во взъерошенный шар, и, не спеша, продравшись сквозь заросли кустарника, пошел меж деревьями по мхам и траве, иногда останавливаясь и обдирая со стволов плети дикого винограда. Он шел к болоту. И чем ближе к нему подходил, тем меньше ему попадалось следов и вытоптанной травы. Наконец следы исчезли совсем. Одноухий сделал широкую петлю, вломился в заросли лопухов и лег носом к следу, положив голову на лапы.

Он шел двое суток, Одноухий, — спустился с гор на густонаселенную равнину и шел ночами. Он очень боялся железной дороги и долго не решался перейти ее. Почти целый день скрывался на городской свалке, потому что город не обойти, а спрятаться было негде. И одичавшие собаки, которые жили на свалке стаями, ободрали ему «штаны». Вот до чего он дошел, Одноухий, — какие-то шелудивые собаки гоняют его. И все-таки он добрался до речки, несмотря ни на что. Потому что речка была его. Глупый, старый, упрямый медведь...

Он чувствовал сильную боль где-то под черепом. Когда он шел, замечать ее было некогда, но сейчас она мучила его и Одноухий тихонько рычал. Он лежал, и рычание выбрировало в клыках, колебля травинки. Потом боль прошла, и он забыл о ней, уснув. Сон его был неспокоен и тяжел. Снова собаки грызли ему зад и он бежал от них, панически оскальзываясь на грудах мусора, как деревенщина от городских хулиганов, и снова летел на него по синим, освещенным луной рельсам сумасшедший глаз тепловоза. Шерсть на загривке поднималась дыбом, медведь грозно рычал во сне, а то вдруг принимался жалобно, по-щенячьи поскуливать. Чутким сторожем ходило на голове здоровое ухо и вздрагивал, словно силясь повернуться, обрубок второго.

Солнце наконец оторвалось от земли, повисело, будто примериваясь, стоит ли начинать еще один день, и двинулось вверх. Успокоенный воздух выровнялся,

расслоился, птицы перелетели с дерева на дерево и их бестолковый гвалт выстраивался в причудливые лабиринты. Зажужжали шмели, муравьи зашуршали в траве, двигаясь куда-то длинной колонной, и монотонный гул жизни волнами поплыл по лесу.

По тропинке, ведущей из города, тихонько вышел к речке старый кореец с большим, сплетенным из бересты коробом за плечами. Он остановился, увидев медвежий след, а ноги его продолжали мелко семенить на месте, словно старик бежал мелкой трусцой. Опиравшиеся на палку узловатые, коричневые от загара и сока растений руки мелко дрожали. На нем были синие, из грубой материи брюки, мокрые до колен от росы, сандалии, брезентовая куртка и соломенная, конусом, шляпа. Он подождал, пока руки и ноги успокоятся, потом медленно, в два приема, снял короб и присел на корточки. Осмотрел отпечаток медвежьей лапы, вдавленный в сырую землю у воды, и потрогал его пальцами, почти не чувствуя землю из-за мозолей. Потом сдвинул шляпу на затылок и, осмотрев противоположный берег, нашел место, где медведь вышел из воды, — в серебряно-дымчатой от росы стене зарослей темнело большое пятно. Глаза старика слились в узкие щелочки, верхняя губа в седых редких волосках приподнялась, обнажив пожелтевшие от чая и табака редкие зубы.

«Он опять пришел, — подумал кореец, — он такой же старый, как я, и все равно молодой, потому что старый медведь — это не то что старый человек». Он достал из-за пазухи длинную, с маленьким чубуком трубочку, пачку папирос и спички. Выкрошил в мундштук половину папиросы, примял большим пальцем, чиркнул спичкой, вобрав худые щеки, затянулся и пыхнул белым вонючим дымком. Стайка комаров шарахнулась по кустам. Старик опять пыхнул, выпустив белый клуб, и большим пальцем примял рдеющий табак в мундштуке.

Он сидел на корточках и смотрел на реку, не видя ее. Потом встал, отложил трубку и стал собирать сушняк. Движения его были скупыми и выверенными, будто бы он точно вычислил, какое количество их ему осталось еще сделать, и теперь экономил. Собрал охапку хвороста, срезал в кустах рогульки, воткнул их в зем-

лю, поджег сушняк, достал из короба железную банку с проволочной дужкой, зачерпнул воды из реки, ладонью отогнав сор с поверхности, и повесил банку над костром. Когда вода закипела, бросил в банку щепоть заварки, пригоршню красных ягод лимонника, снял банку с огня и накрыл ее тряпицей. Подождал, пока отвар настоится, помешал в банке палочкой и, обернув ее тряпицей, стал прихлебывать, обжигаясь и дуя.

В лесу звонко хлопнул бич, замычали коровы, и из затрещавших, раздавшихся в стороны кустов вышел белесый, в рыжих подпалинах бык. Медвежий запах беспокоил его, красные, налитые кровью глаза блуждали. Бык заревел, раздувая ноздри и пригнув голову, копытом стал рыть землю, сдирая траву. В кустах колыхались вскинутые коровьи головы с влажными, сизо затуманенными зрачками. Чуя коров позади, бык заревел сильней и замотал башкой, бодая воздух. Коровенка с отвислым брюхом сбежала к воде и стала пить. Бык ударил ее в бок и, возбужденный собственной удалью, вдруг полез на нее. Она рванулась и побежала от него, задрав хвост. Бык неловко упал, зацепив рогом землю, вскочил и опять бросился к воде, бодаясь и хлеща хвостом по бокам.

Из кустов выехал на лошади пастух в распахнутой телогрейке. Рыжая, с лисьей мордой собачонка, что вилась в ногах лошади, увидев сидящего на корточках корейца, ощетинилась и стремглав, захлебываясь лаем и морща кожу на носу, кинулась на него. Но старик сидел неподвижно. Собачонка, с разбегу притормозив, оглянулась на хозяина и повиляла хвостом, словно спрашивая, — достаточно ли она усердна. Потом, тускло зевнув, клацнула зубами, поймала на лету муху, облизнулась, порычала для порядка на коров и завиляла по кустам, ткнувшись носом в землю.

— Здорово, Пак! — крикнул пастух, блестя молодыми зубами на шелушащемся от загара конопатом лице. — Много травы насобирал?

Кореец растянул губы, держа в руках банку, и часто-часто закивал, будто кланяясь.

— Медведь объявился, зараза! — сказал пастух и, откинув полу телогрейки, выдернул из пачки мятую папиросу. — У самого загона шлялся, понял, да? Обнаглел! Ну да не на того напал, я его достану. А что, спорим, достану?! — закричал он опять почти обиженно, вдруг посчитав, что Пак ему не верит и поэтому

улыбается. — Я его живого из шкуры вытряхну, слышь, а шкуру тебе отдам!

Пак все сидел на корточках, растянув губы и часто-часто кивал. Пастуха он немного побаивался, потому что не знал, чего ждать от него в следующую минуту. Вдруг он рассердится и прогонит старика из леса, чтобы тот не рвал траву, предназначенную для коров... Пак не мог понять, зачем пастух хочет убить медведя. Разве у него нет еды? И разве медведь кому-нибудь помешал? Старый кореец всегда старался быть приветливей с людьми, которых опасался. И, не щадя шеи, кивал пастуху, со всем соглашаясь.

День обещал быть хорошим, яеным, настроение у пастуха было отличное и ему хотелось что-нибудь совершить, неважно для кого, только бы все знали, какое у него бо́льшое, щедрое сердце и широкая душа. И сейчас, неожиданно придумав подарить медвежью шкуру старику, который, по слабости своей, только и мог что щипать травку под деревьями, что по его, пастуха, мнению было бесполезным и даже постыдным для мужчины занятием, он сам себе обрадовался и стал еще великодушнее. Ему жгуче захотелось бросить коров, немедленно отыскать и застрелить медведя.

Он сплюнул, раскрутил бич и, привстав на стременах, звонко огрел быка по спине, а потом, оскалившись от нахлынувшего азарта, еще раз. Коровы заревели, и, ломая кусты, стадо двинулось дальше. Пастух возбужденно погонял их и все щелкал бичом, точно погоняя медлительное время, потому что мысленно уже сидел в засаде, стрелял, бежал, кричал и потом рассказывал дояркам про пережитые страхи, выставив на обозрение еще не засохшую, сочащуюся сукровицей шкуру. Он был нетерпелив, ему хотелось делать добро, хотя он толком не представлял, что же оно такое. Он страстно хотел делать добро и совать под нос тем лентяям, которые провожают его утомленным мудростью взглядом, не желая это добро хватать. Он готов был воевать за добро немедля, сейчас, хотя и был простой пастух, два года как пришедший из армии.

«Что ж, — подумал кореец, когда стадо скрылось,— может быть, после смерти медведь станет деревом, а я стану медведем и пастух меня убьет. Всегда кто-нибудь кому-нибудь мешает, и чем медведь лучше дерева, — а ведь их рубят тысячами и никому их не жаль, даже

когда деревья плачут». И еще он подумал — слышал ли кто-нибудь плач дерева? Ведь деревья только шелестят, а иногда скрипят и раскачиваются.

Он посидел еще, докурил трубочку, разглядывая темную дыру в зарослях на противоположном берегу, в которую ушел медведь, сделавшись невидимым, потом выплеснул остатки отвара в прогоревший костер, положил банку в короб, предварительно завернув ее в тряпицу, просунул руки в брезентовые лямки, встал, засеменил ногами на месте и, дернувшись, как машина, у которой включили скорость, двинулся по лесу, время от времени останавливаясь и вороша палкой траву. Мысли его были просты и незаметны, как воздух, и так же незаметно текли, не тревожа его. Он шел по колено в траве, словно бы плыл, а над ним шатром колыхалась листва, перевитая лианами, вспархивали птицы, что-то шуршало в траве.

Старик думал: кем может стать медведь после смерти? Может быть, человеком? А может, он совершил какой-нибудь грех и за это станет рыбой и будет плавать, немо разевая рот? Старик верил в перевоплощения. Его дети, обвившиеся вокруг его жизни, как лианы вокруг дряхлого ствола, смеялись над ним, и он им не перечил, потому что весь свет был для них, а он теперь чаще присматривался к земле, чем к небу. Он соглашался с ними, а про себя думал: «Если одно не превращается в другое, откуда же тогда все взялось?»

Он шел вдоль берега, следуя поворотам реки, и у поваленного тополя на той стороне, где крутился водоворот, кружа по воде хлопья пены и мусора, увидел палатку. На тополе сидел молодой парень, чистил картошку и бросал в воду кожуру. Чуть поодаль дымил костерок и висела на кустах нейлоновая сеть с забытым в ячее челноком. Парень что-то насвистывал, поглядывая на синий проем неба над рекой, в котором плыли тугощекие смеющиеся облака. Картошки выстали из-под его ловких пальцев одна за другой и быстро шлепалась в котелок, будто стесняясь белой своей голизны. Старик долго стоял, разглядывая палатку, костер и парня, потом свернул от реки в лес. А лес переговаривался, шумел, гудел себе, не замечая его, потому что старик двигался медленно и молчал.

Метрах в двухстах от палатки браконьеров забормотал мотор, взвыл, преодолевая какую-то преграду,

и из кустов высунулась вишневая морда «Жигулей». Захлопали дверцы, и из машины вышли четверо — две девушки и два парня. Они стояли каждый сам по себе, разглядывая реку и берег. Потом один из парней — коренастый, шикогрудый, с черной бородой и по-пиратски подвязанными платком волосами, в тельняшке, прошелся по полянке, задрав голову на кроны деревьев, хлопнул ладонью нетолстую березку, постоял, что-то прикидывая, вернулся к машине, вытащил из багажника топор, походил вокруг деревца, поплевал на ладони и, широко размахнувшись, разворачивая широкий корпус, с потягом, умело всадил топор под самый комель. Береза дрогнула кроной, оторвалась сухая ветка и с шорохом рассыпалась в живых ветвях. Опять сверкнул топор — и белый кусок древесной плоти отскочил от ствола. Подруб полукругом опоясал ствол, крона вздрагивала все чаще, потом в теле дерева что-то звонко лопнуло, и двумя ударами чернобородый умело положил березу в прогал меж кустами. Потом схватил комель и, натужась, потащил в сторону, а напарник его, сев за руль, подал машину ближе к воде и стал выбрасывать на траву яркие мешки и сумки. Вдвоем они быстро поставили палатку, вбили в землю треножник для котла, расчистили полянку от мелких кустиков и охапками стали таскать в палатку траву.

Девушки тем временем спустились ближе к воде, сбросив босоножки и тихонько о чем-то переговаривались, посмеиваясь.

— Купаться хочется! — сказала одна, потянувшись и ладонями встряхнув за спиной густые каштановые волосы. — Как ты думаешь, есть тут местечко, где можно обойтись без лишних церемоний? Я как назло купальник не взяла, а водичка те-о-оп-лая...

— Здесь вода, наверно, грязная и комары. — Рыжая востроносенькая девушка посмотрела на подругу округленными глазами, прижав к губам кулачок. — Да и мальчики...

— Мальчики не будут в обиде. А мне здесь нравится, честно.

— Девки-и!—заорал им бородач, весело скалясь.— Вы чего там секретничаете? Идите помогать!

— Ты знаешь, Женька прямо какой-то бешеный,— сказала темноволосая подруге, посматривая на бородача и посмеиваясь. — Если уж он вырвался на при-

роду, ему надо ночевать в стогу, рубить деревья и костры жечь до неба. Прямо необузданный какой-то! Я от него бегала сначала, думаю — какой дикарь. Ему все сразу вынь да положь, он и сюда меня, думаешь, для чего затащил? Но вот ничего ему не будет, не дождется! — Темноволосая тихонько рассмеялась, прижав к губам палец и любовно оглаживая глазами фигуру бородача.

— Они вместе работают? — спросила рыженькая.

— Мишка у Женьки начальник, — сказала темноволосая. Прищелкнув языком, она многозначительно посмотрела на подругу и опять прыснула в кулак. — Так что, Олечка, не упускай шанс!

— Рая, ну ты прям...

— А что тут такого? Ты же не хочешь до старости оставаться старой девой!

— Ну Рай!..

— Ладно, ладно. Какие мы правильные! — Она потянулась, натянув грудью легкую ткань. — А по правде, этот Миша просто зануда. Бука какой-то. Будь ему сорок лет, а то корчит из себя не понять что, да еще смотрит, будто ты ему червонец должна. Не люблю таких.

— Да нет, он хороший парень, — протестующе округлила глаза рыженькая Оля. — Просто неразговорчивый, у него, наверно, жизнь тяжелая.

— Уже заметила? — усмехнулась темноволосая. — Ну что ж, может, и хороший парень, но дурак, а ты дурочка. Вот будет парочка!

Рыженькая Оля смотрела на текущую воду, по-детски круглыми, готовыми улыбнуться и удивиться глазками и морщила губы, о чем-то смутно думая.

— Ой, смотри — комар в воду попал! — сказала она и рассмеялась.

В воде бежало ее отражение, и от него было трудно оторвать взгляд.

Пожилого браконьера разбудила машина. Он еще полежал, поворочался на жесткой подстилке, пытаясь вернуть сон, позевал недовольно, покряхтел — бока отлежал, надо ж так, — потом поднялся, откинул марлевый полог, высунул из палатки небритую, опухшую со сна физиономию, огляделся и вылез. Молодой его напарник помешивал в котелке варево, насвистывая что-

то. Рядом с ним на пне потрескивал, завывая на посаженных, отсыревших батарейках, перевязанный клейкой синей лентой приемник, и обрывки какой-то безалаберной песенки скакали из него, раздражали. Над костром на колышках сушились резиновые сапоги молодого и грязные, в фиолетовых разводах, байковые портянки. Сон был плохой и настроение у пожилого было скверное, брюзгливое. Он уже начал было ворчать, чего это портянки рядом со жратвой, но вдруг подумал, что портянки портянками, а вот машина — кто б это мог быть?..

Он прошел к воде, встал на колени, долго, старательно плескался, откашливался, отхаркивался, черпая воду ладонью, лил на шею, скреб за шевелящимися ушами, полоскал рот. Потом насухо вытерся полотенцем и еще постоял, подышал, ожидая, когда откатит окончательно сонная одурь. У костра налил в кружку чаю, горячего, густого — язык разом связало, опять потянуло ругаться: экономить надо, экономить, а не транжирить! Постоял, прихлебывая из кружки, поглядывая на «связчика». Слышал тот машину или нет? Да разве же они что слышат, разве что видят? Они и впрямь думают, что жизнь им, как цацка. Вот и у этого глаза телячьи, хоть здоровый парень, а не помощник, нет, не помощник. Сюда бы мужика здорового, матерого, который на все вприщур смотрит, прикидывая, что оно, как и почем. Но, с другой стороны, с матерым дело иметь — ухо востро держать, а этот что?— ломит, улыбается и ломит, сила в нем кипит, расчета нет, копейку жать ему заподло. Дурачок ведь, дурачок, ну да он и его прищучит когда-нибудь...

— Приезжал кто, что ли? — осторожно спросил пожилой. — Что машина-то гудела?

— А никто не приезжал, приснилось тебе, — беспечно ответил напарник.

Он все насвистывал — загорелый, крепкошеий, с покатыми сильными плечами, мешал ложкой суп из концентратов, время от времени по-детски облизывая ее, посматривал себе на облака, улыбался, и видно было, как легко и просто ему живется. Нравилось ему тут, на Сахалине. Пожилой улыбнулся углами губ, завидуя, но тут вспомнил о главном и опять нахмурился.

Рыба не шла, хотя подошел уже срок. И его точило опасение, что, может, кета теперь здесь вовсе и не идет.

Года три назад он приезжал сюда, на речку, с опытным человеком из местных, дальним родичем. Тогда они взяли за какую-нибудь неделю килограммов по двадцать икры, да по бочонку брюшков засолили, да балыка по пуду навялили. Разом столько денег, сколько тогда выручить удалось, он за три года больше в руках не держал. Всей работе сроку было — неделя! И на этот раз хотел он порыбачить, уже и пропуска им с соседом родич устроил, а сам вдруг в последнюю минуту отбил телеграмму, что компании составить не может. Отозвали родича из отпуска, и сейчас он плывет себе в Австралию за бараниной и в ус не дует.

Три года назад было проще, — народа меньше шлялось, фермы не было и рыбзавода этого паскудного не было. Медведи шатались, это точно. По ночам они с родичем боялись спать, хоть и ружье было. За три года перемен произошло много, а главное — кета, может, и не заходит теперь в эту речку, может удобрениями ее потравили или еще какую гадость слили. Рыба, говорят, этого не любит и больше в ту речку не заходит. Пожилой злился. Злился на рыбу, на родича своего, на молодого веселого напарника, которому все нипочем, на все наплевать. А деньги теперь как вернуть, которые ухайдаканы на сеть, на билеты? С кого их спросишь, с рыбы, что ли? У-у-у, паскудная тварь, не он над ней начальник, он бы ее бичом гнал, чтоб не шлялась где попало!

Он посидел у костра, попил чайку, все больше раздражаясь. Не утерпев, сорвался, наказав молодому доваривать, да не пересолить, и пошел через лес, к болоту, где он видел свеженаезженную колею, и если где ездить, то там. Шел быстро и раздраженно, прикидывая, а что если, не дай бог, инспекция? Под ногами пружинило, выдавливалась вода. Обочь, в кочке, заметил кустик голубики, присел, пропустив веточки сквозь растопыренные пальцы, как совком, сняв с десяток сизых, белым тающим налетом обметанных ягод, кинув в рот, пожевал, морщась, чувствуя на языке кисловатую мякоть, снял еще, подумав про себя, как бы не подцепить чего, — ягода в полный сок еще не вошла, кислит, начнешь по кустам бегать — какая там рыбалка! Но тянуло неудержимо и кустик обобрал дочиста. Сделал еще шаг, другой — опять кустик, а ягодки уже не круглые, а длинные, вытянутые, кислые на вкус,

дурманящие. У него даже глаза сузились от удовольствия, будто в детстве, когда по ночам, торопливо, вздрагивая от каждого шороха, обирал в соседском саду малину. Руки от сока посинели, пальцы липнут, а все рвут, сыплют в рот полные горсти, а глаза уж следующий куст ищут.

Так, на коленях, и выполз на марь. И там обомлел.... Меж кочками, куда ни глянь, плещут на ветерке, парусят платья, голоса перекликаются, бидончики позвякивают, а чуть в стороне стоит, уткнувшись тупой мордой в куст, веселенький красный автобус. Городские за ягодой понаехали! Он посмотрел, посмотрел, ошалело вскинув белесую бровь, и зло сплюнул. Черт их принес! Теперь попробуй потаись. Солнце сильнее припечет, — как есть на речку повалят, сеть на кусте увидят, палатку. Да дураком надо быть, чтоб не понять, что́ двое мужиков на речке в путину делают. И заложат, заложат, суки! Попробуй сейчас разберись, кто из них какую форму носит. Т-т-туристы! На природу, значит, потянуло, не сидится дома-то тунеядцам, — вишь, вода у них есть, не носить, не таскать, огородов не держат... Понаехали на дармовщинку, ягодки захотелось!

Эх, будь его воля, он бы эти ягодники не разбазаривал, а настоящим хозяевам отдавал бы, у него не пошлялись бы, не потоптались. Хотелось засвистеть, чтоб кинулись испуганно, и — в милицию, на предмет протокола. Государственное добро ведь разворовывают! В домашнем своем саду сколько приходится горб гнуть, сколько пота пролить, да еще потом на базаре спекулянтом обзовут, дескать, непомерную цену дерешь. Знали б они, что и как достается! Но тут вот... Ведь не сеет никто, не удобряет, не поливает, не ухаживает, а оно растет, и хоть ты тресни. Господи, да если ты вправду есть, что ж ты такое творишь, а? Что ж ты хулиганишь? Ведь не дай бог такое в Рязань, — сколько людей без куска хлеба осталось бы, сколько последнего удовольствия на копейку обсчитать лишилось бы, ай-я-яй...

«Что это я порю-то, — вдруг удивился он про себя, — что несу-то несусветное? Тьфу, ты, пропасть, совсем с этой рыбой ума лишился. Чего расстраиваться-то?». Так ведь расстроишься! Сколько добра кругом — и куда его все девать, ведь пропадает, пропадает! Мо-

жет, в газетку написать, а? Предложить, чтоб никого в лес просто так не пускали, а продавали бы лицензии,— от трех рублей до десяти. Если три рубля заплатил, — можешь себе свободно ходить, воздухом дышать, но не больше, если пять, к примеру, — цветок там сорвать или два, ну и так далее. Он даже остановился, вдумываясь в сочиненное, и сам себе удивляясь. Вот голова-то, варит! Надо, непременно написать надо. Как просьбу трудящегося. К трудящемуся, небось, прислушаются пачкуны эти, которые не сеют, не пашут, а только языком болтают. Народ у нас сознательный, ради общей пользы, надо будет, — сам себя выпорет, а тут такое дело, миллионное! Надо, надо написать. А там, глядишь, и о нем вспомнят, может, и портретик где напечатают, вроде как изобретателя-рационализатора из простых... Тут он себя одернул, — ишь размечтался, старый дуралей, ишь куда понесло! И все-таки приятно было. На душе от этих несолидных вроде бы мечтаний поотмякло что-то. И настроение после дурного, маятного сна поулучшилось. Процентов на двадцать поулучшилось — это точно.

И тут, едва носом не ткнувшись, запнулся вдруг, чувствуя горячо толкнувшуюся в виски кровь. Рядом со старым, дуплистым тополем, на мягкой, перетрушенной земле муравейника — медвежий след... Замер, настороженно оглянулся, присел на корточки. Мысль, сорвавшись, лихорадочно заскакала. «Ружье где?.. Сегодня же почистить и чтоб всегда под рукой было, мало ли... Жаканы?.. Взял, точно взял... На рыбу пришел, не иначе — он лучше рыбинспектора знает... Значит, не ушла рыба, не ушла!.. Добыть бы шкуру... А ну как своей лишишься?.. А при случае можно и рискнуть... Стрихнину бы насыпать, рыбку какую выловить, завонять, да со стрихнином и подбросить, да где его теперь возьмешь, стрихнин-то?..»

В ветвях над головой что-то зашелестело, зашуршало, посыпались сухие веточки, кусочки коры. Разом оцепенев, чувствуя предательское бурчание, вжался плешивым затылком в ослабевшие плечи, задрал пористый утиный носик, мутные глаза тоскливо расширились, ожидая, что выглянет вот сейчас страшная оскаленная морда.

Листва на дереве колыхалась, солнце высверкивало, пробегало в тенях, слепило. На нижней ветке

сидел, наклонив голову, дрозд и выпуклыми черными бусинками глаз изумленно рассматривал сидящего под деревом на карточках человека. «Так это ж... это ж в животе у меня бурчит... Ф-ф-ф-у ты, зараза!» Прелый сук, брошенный ослепшей от злости рукой, заскакал по ветвям, соря трухой, дрозд снялся и фр-р-р! — часто-часто махая, унесся куда-то в подвижные лабиринты зеленых ветвей.

2.

Одноухий проснулся, чувствуя тупую, тяжелую злость оттого, что сон кончился и теперь надо вставать и идти. Идти, таиться, ловить запахи, добывать пищу и опять спать и тревожиться во сне. Все, что когда-то было легко, естественно и незаметно, теперь требовало усилий и поэтому раздражало. Мучившая его боль в затылке почти прошла и из одной острой, колющей точки где-то за ухом растеклась по всему черепу, застелив его плотно и вязко, отчего лапы и голова казались чужими. В мутных, закисающих глазах предметы текли, и это казалось продолжением сна. Тощий рыжий комар завел над ухом занудную песню, уселся на нос, изогнувшись, погрузил жало и сладостно завибрировал, раздуваясь от крови. Одноухий мотнул головой и шумно выдохнул через ноздри. Комара смело горячей воздушной струей, смяло слюдяные чешуйки крылышек и влепило в пучок сухой травы. Он панически забился, тоненько завыл, перебирая длинными сухими ногами. Одноухий еще раз шумно вздохнул, открыв красную пасть с желтыми клыками, потянулся, растопыривая когти, и принялся вылизывать кожу меж ними, нежную и черную.

Воспаленный глаз солнца висел высоко над землей и горячее марево разрушало воздух, колыхало его волной, выгибало куполами. Он был бесцветен и горяч, над низинками и рекой прогибался и делался белесым, тяжелым, а дальше, у моря, ощутимо синел, и синева эта на западе казалась очень плотной, словно бы там, на побережье, воздух стоял стеной и по этой стене медленно и невесомо передвигались чайки. Воздух над морем был продолжением воды. А здесь сильно пахло нагретой землей, осокой, иван-чаем, трава стлалась по кочковатой мари, желтея кое-где сухими желтоватыми

прядями, и короткая жизнь насекомых яростно кипела в ней. Марь была бесконечной, и бесконечным было колыхание травы на ней. И далеко, у самого горизонта, за черными, обугленными спичками горелых лиственниц синей полоской виднелось море. Когда-то тут был лес. Лес сгорел, земля заросла кочкой, трава скрыла пожарище и освободившееся от леса пространство стало марью.

Одноухий вылизал лапы, шевельнул ухом, потом потянулся, скусил цветок и стал жевать его, просто так, от скуки. Воздух плыл, дрожал, колебался. Трава бежала к морю, согнув вершинки в неимоверном, до дрожи, напряжении. Мимолетные блестящие волны возникали в ней и пропадали. И потом вдруг опять возникали и блестящий зеленый вал катил через кочку. Редкие стволы горельника двигались вместе с травой, медленно перемещались, подрагивая. Все плыло и двигалось куда-то неизвестно зачем. Широкие лопухи, под которыми лежал Одноухий, колыхались, и пятна света бродили вокруг него по земле. Он прожевал цветок, замер, заворчал и стал яростно чесаться. Потом еще раз зевнул, встал, отряхнувшись, и вышел из лопухов на солнце, на какое-то мгновение ощутив собственную удушливую вонь, которую тут же перекрыло теплым пахучим воздухом, летучим и легким. На ольхе заполошилась сорока, все утро ожидавшая, когда Одноухий проснется. Она забила крыльями, затрясла хвостом и разразилась заполошным стрекотаньем, перелетая с ветки на ветку. Что ей было нужно от него? Одноухий понюхал ветер и, качая башкой вверх-вниз, по краю мари пошел в обход леса. Кочка была высокой, и местами он совсем скрывался в траве, вытягивая вверх шею и принюхиваясь.

Вдруг резко и сладостно запахло, и шерсть на Одноухом встала дыбом. Из-за кустика, метрах в двадцати, выбежал мальчишка и, увидев медведя, с размаху сел и заулыбался. Одноухий, ворча, двинулся к нему, и тут мальчишка заорал что есть мочи, надув измазанные ягодным соком щеки и покраснев. Одноухий сел, ощерясь и развернувшись, валко побежал в лес, потом припустил быстрее, прыжками, продолжая оглядываться, а пацан орал благим матом, пуская пузыри и утирая глаза грязным кулаком. Потом испуганно смолк, поднялся и, всхлипывая, запинаясь, при-

держивая короткие штанишки с лямками через плечо, побежал к березкам на опушке, откуда слышался уже встревоженный женский голос.

Одноухий пересек свой след, залез в кусты и полежал, вслушиваясь и все еще нервно ворча. Погони не было. Он вылез из кустов и вышел без всякой определенной цели, просто так, то в одну сторону, то в другую. Съел пару сыроежек, нашел муравейник и разорил его, попетляв, опять вышел на марь и долго бродил меж кочек, объедая с кустиков голубику. Где-то на другом конце мари перекликались человеческие голоса, но разглядеть его в высокой траве было невозможно, и он старался не приближаться. В сущности, людей он не боялся — они не сделали ему ничего плохого. Так уж получилось, может быть, просто повезло. Он чувствовал, что люди в чем-то подобны ему, Одноухому, — всему заключенному в нем, а значит и всему живому. Но они жили в ладах с миром, который он не понимал. В ладах с грохочущим, лишенным всякой жизни металлом, который тем не менее жил и двигался, что было похоже на какое-то сумасшествие. Одноухий не мог понять, как так может быть, не хотел и не смог бы понять.

Жизнь его была проста, любовь и ненависть его были просты, он никогда ни о чем не жалел, всегда ходил куда хочется, всегда ходил прямо и путал след только тогда, когда за ним гнались. Если был сыт, — спал, если голоден, — искал пищу. Все текло, таяло, пропадало и возникало вновь, прорастало, как молодая трава после сошедшего снега. Времени не существовало, только день да ночь, весна, осень, лето, зима, в каком угодно порядке, не нужно никаких названий, все понятно само собой, — когда рдеет кленовый лист и в небе вытягиваются строчки улетающих журавлиных клиньев, когда клонит в сон, а загривок тяжелеет от жира. Он не знал, как давно живет на свете и сколько еще будет жить, памяти не было, вечность позади, день ли, — только опыт, знание троп, мест, но и опыт не имеет значения, когда все меняется на глазах и надо раз за разом привыкать к чему-то новому. Казалось, он пришел ниоткуда и его тропе нет конца. Это было глубже знания, это жило в нем с рождения, просто и естественно, как инстинкты и чувство пространства. Конечно, он боялся боли и огня и еще многих вещей,

ненавидел кислый запах железа, но все это была боязнь кожи и мышц, ведь вся его жизнь на том и стояла — питать их и беречь, ради этого он был устроен, и ничего ему больше не объясняли, пустили на свет и— все тут. Он был живым существом, медведем, и выполнял свою задачу, не зная о ней, никогда не задумываясь, почему он ее должен выполнять — именно эту. Конечно, были вещи, которые выполнять ее мешали, и он должен был преодолевать их. Он был создан таким, а не другим, как камень у дороги или вода в реке. Загадка жизни не касалась его, может быть, именно в этом было счастье, но он и этого не умел никогда понять, потому что то, что делалось с ним и вокруг него, как раз и было естественным состоянием всего живого, пока ему не мешали.

Он лег меж высокими кочками, вытянув лапы и прижмурив глаза. Трава нависала сверху, смыкаясь над ним реденьким зеленым шатром. Было темно, душно, а брюхо холодила выступившая подо мхом вода. Комары, слетевшись на живое тепло, облепили Одноухого серой шевелящейся шубой. Он помаргивал, здоровое ухо то обвисало, вяло подрагивая краями, то резко выпрямлялось и двигалось, улавливая разнородные шумы и посылая Одноухому сигналы: «Все спокойно, все спокойно, это лягушка шелестит в траве, а те, что кричат,—кричат далеко...». А он, не обращая на шумы внимания, тянулся носом к синему колодцу неба меж кочками. Небо было чистое, высокое, синее. Изредка проплывали маленькие, похожие на клочки пены облака. Он не знал, откуда они берутся, но облачка нравились ему. Одноухий жмурился, моргал и тянулся к ним носом, будто хотел понюхать облако. Может быть, ему казалось, что небо — это очень большая река, в которой плавают большие рыбы.

Ухо настороженно застыло, потом кольнуло мозг тоненькой иголкой тревоги, и от мозга ушел сигнал к надпочечникам. Они впрыснули в кровь небольшую дозу адреналина, сжавшего разом набухшие мышцы нервной энергией, а желудок ослаб, готовясь в случае необходимости извергнуть свое содержимое, чтобы Одноухий, случись что, не волочил брюхо, а был поджарым, резким и быстрым. На загривке зашевелилась шерсть, и по спине забегали мурашки, волоски на ней вставали дыбом, как бы увеличивая Одноухого в объеме на

страх врагам. И, чувствуя эту тревожную быструю работу тела, приготовившегося себя защищать, он нехотя опустил нос и прислушался.

Где-то близко шуршало, тоненько вызванивало на жесткой осоке легкое железо, слышались голоса. Потом громко раскатился женский смех, и Одноухий, вздрогнув, задвигал лапами, подбирая их под себя на случай прыжка, завозился и замер, укрытый травой. По его приподнятому заду прокатилась судорога.

Рыжая востроносенькая девушка с худым усатым парнем прошли метрах в пяти от него, не заметив. В руках у девушки был котелок, легкое платье раздувалось и парусило, когда она прыгала через кочки. Парень отмахивался от комаров рубахой. Они прошли, скоро Одноухий перестал слышать их голоса и успокоился. Опала шерсть, дыхание стало ровным и шумным. Он лежал в сером мешке из комаров и сквозь покачивающиеся травинки лениво смотрел вверх. Над кочками, где он лежал, будто дым от костра, поднимался клубом густой, вонючий запах псины, невидимый для постороннего. Но сорока, мельтешащая над марью то туда, то сюда и бестолково верещавшая, видела такие столбы повсюду над марью и лесом, большие и маленькие — всюду чадила медленно сжигавшая себя жизнь...

...Это мечущееся, пестрое женское платье, слишком яркое в унылом однообразии плоского болота с хлюпающей под ногами водой и монотонным комариным гудом. Спасительная магия вещей, осколок человеческой пестроты. Какая красота может быть в этих чахлых кустиках, в обгорелых стволах на горизонте? Унылый покой и запустение. Вот от этой тоски прошла история человеческого бегства в города свой крестный путь, обосабливаясь от вечного непостоянства погоды, от чавкающей утробы земли, от которой до головной боли несет могилой, гниением. Ее еще надо выстлать асфальтом тротуаров, покрыть крышей, упорядочить и внести гармонию в ее неряшливую леность, заставить ее расцвести садами и оранжереями, чтобы навек ушел с нее желтый оттенок вечной дряхлости. Казалось, он уже видит контуры легчайших зданий из алюминия и стекла, сады с мелодичным пением птиц, подстриженные газоны, мелодично журчащие ручейки и тенистые аллеи с искусственными озерами. А может, — вспаханное поле с трактора-

ми и ровными, как по нитке вытянутыми, оросительными или осушительными каналами. Огромное поле и солдатские шеренги белых кочанов капусты на нем... Или ровная гладь колыхающейся ржи?

Он моделировал лежащее перед ним пространство, кочковато-волнистое, отсекая квадраты, перестраивая, перекраивая по своей прихоти, но для этой игры было слишком жарко. Горячий полдневный ветер, казалось, насквозь пронзал худую, с темным курчавым волосом грудь, делая тело невесомым, сухим. Он стоял, обмахиваясь рубахой, прищуренными глазами оглядывая землю, ее болотца, кочки, полегшие травы, чахлые деревца, которым не хватает опоры на ходящей ходуном болотной почве. Земля... Если она — мать, то это стыд за нее, неловкую в своей хилой немощи, за нее, которая могла бы быть щедрой и доброй, передавая своим детям беззаботность и щедрость, а дарит лишь извечную печаль, заключенную в скудном пейзаже, словно напоминая об усилиях, которые надо приложить, чтобы одеть ее нормально, вытряхнуть из рубища, чтобы...

Мысль ускользнула и растворилась в сложной ассоциации. Он усмехнулся. Вот еще одно доказательство вреда красивости. А может быть, слабости мозга перед красотой?..

Ольга уселась на кочку, из травы выглядывал только рыжий затылок с задорным, стянутым резинкой хвостом. Ее руки проворно сновали по кустикам, обсыпанным фиолетовыми каплями голубики. Она обернулась, посмотрела на него из-под ладони и, блеснув мелкими зубами в улыбке, крикнула:

— Да хватит лентяйничать, Миша! Я без тебя уже полкотелка набрала.

— Иду, иду.

Он с удивлением услышал свой хрипловатый голос, казавшийся чужим. Жара накатывалась волнами, мягко давила голову. Чужой голос, чужие руки, чужие слова. Чужие ли? Слова, которые можно и не говорить. О чем это? Да, да, когда тебя несет конвейер, нельзя говорить иначе... Да о чем это, черт возьми!

Он присел рядом с ней на корточки, чувствуя голым плечом испарину на ее руке, которая шустро сновала по веточкам, время от времени задевая его. Вот девушка, вполне понятная по своим чувствам, мыслям,

намерениям, которую можно рассчитать наперед, разложить по полочкам и перестроить даже, но душа у нее сплошь вытоптана, скована собственной правильностью, у нее нет сил поддаться естественному обману любви, не направив его в специально отведенное русло. Вот сейчас схватить ее и опрокинуть на траву, навзничь, под душное покрывало солнца, — поймет ли она этот эллинский жест? Поймет ли присущее человеку стремление освободить любовь от цепей вынужденной сдержанности и ханжества, которые даже здесь, в безлюдье, держат куда крепче, чем самые настоящие цепи?..

И он хотел бы так поступить, ради того хотя бы, чтобы доказать себе самому, что он способен, не скован, — нет, что он носит оковы добровольно и способен их сбросить, Но ведь и эта вечная проклятая двойственность, неспособность к бездумному поступку, доброму ли, злому — не есть ли это куда худшее рабство?.. Наверно, она поняла бы, потому что нет ничего заразительнее и убедительнее свободы, но он на это не способен, а в общем, это чушь, блажь. Просто-напросто он из тех, кого будто бы с детства, с самых пеленок готовят в эталоны безгрешности и правильности во всем — в словах, поступках и мыслях. Потому что он должен стоять над людьми, пусть и невысоко, направлять их движение, и сотни пристрастных взглядов должны пройтись по нему, не зацепившись, — это одна из многих потерь, о которых можно было бы жалеть, не оплачивайся они куда более высокой ценой, властью. Но цена эта становится явной лишь на людях, а здесь, в пустоте, когда сняты приводные ремни, приводимые в движение энергией твоего слова, взгляда, жеста, ты и есть всего лишь кусок холодного металла, не привыкший решать для себя, потому что для тебя как будто все уже решено.

Он привалился спиной к кочке, прикрыл глаза, чувствуя на веках горячие пятаки солнца. Задремал.

Оля поглядывала на него, сдерживаясь, чтобы не прыснуть: уж очень смешно было его бледное худое лицо с синеватыми, почти прозрачными веками и жесткими усищами. Впалые щеки, большой горбатый нос, аккуратно подстриженные волосы. Сколько ему лет, интересно? На вид — около тридцати, совсем старик. Она думала, будет кто-нибудь помоложе. Можно ли с

ним целоваться? Хи-хи — такой нос! Ритка говорила, что он какая-то шишка. Недаром он такой серьезный и, наверно, плохо спит: под глазами круги. Такого хочется пожалеть, приласкать, ведь совсем заморенный. Но ничего лишнего не позволять, ни-ни! Но что же он? Спит?

Лёгкая травинка прошлась по усам, тихонько ткнулась в ноздрю, защекотала. Он открыл глаза, услышал сдавленный смех и увидел пунцовую щеку отвернувшейся Олечки, ее снующие руки. Беззаботное существо с гладкой, чуть тронутой загаром кожей. Стройненькое. Смешливое. Городской зверек с отштампованным набором слов, мыслей, ситуаций. Но так ли это плохо? В конце концов, штампы ничего не опошляют, как принято об этом думать. Они — код, облегчающий общение; при видимой одинаковости слов, пузырящихся на губах бездумно и почти автоматически, как световые сигналы идущего на посадку самолета, изнанка у каждого своя. Нужно слушать эту белиберду, которую она бормочет про артистов, телевизор, танцульки и свою парикмахерскую, но еще и вслушиваться в оттенки, присматриваться к глазам. Что она говорит, прикусив зубами ягодку, истекающую фиолетовым соком, чему смеется? Ведь это игра! Два токующих глухаря на полянке среди сосен. Раздутые зобы, распущенные веерами хвосты. Журавль, беспокойно бегающий вокруг самки. Осенний наряд оленихи, грациозная поступь... Уметь забыть себя (это Гегель), забыть себя и в слиянии обрести себя иного. Но это невозможно, потому что есть еще и другой — тот, что внутри, с трезвыми, неспособными поддаться опьянению глазами. Дьявол или та самая совершенная личность, умеющая учитывать каждую копейку потерь и прибыли? Тот, кто высчитывает все возможные варианты, осторожно прикидывая их, с поправкой на возможные неурядицы. Счетная машина души-робота, в которую всадили программу возможного развития и возможного чувствования. Иначе и быть не может. Если все время давить самого себя, резать по живому ради абстрактных, не зависящих от собственной души идеалов, променять себя самого ради вшивоты этого самого благополучия, то есть возможности не беспокоиться о хлебе насущном, — то иначе не может быть, рано или поздно взамен всего, чем жертвуешь, возникает сухой алгоритм, который ставит под сомнение все,

кроме самого себя, все выворачивает наизнанку...

— Как не стыдно днем спать! — Она встала на колени, близко нагибаясь над ним. В смешливо сощуренных глазах — быстро мелькнувшие испуганно-любопытные блики.

— Очень жарко. — Он сухо улыбнулся, рубахой стер со лба пот. — Спокойно, тихо.

Глаза... Глаза всегда обнажены. Как это моралисты не додумались до этого? Ведь сначала — глаза, а уж потом руки, губы и все остальное. Вот глаза этой девушки, немного испуганные, но вместе с тем и упрямые в достижении самой ей непонятной пока цели. Скажи ей сейчас, что ее глаза говорят о ней куда откровеннее, чем можно сказать словами, она, пожалуй, не поняла бы, а то бы еще и рассердилась. Они говорят — да, я все знаю, я знаю, что я есть и для чего я, я этому рада, потому что мое назначение точно соответствует тому, как я создана, и мне это будет радостно, и я заранее радуюсь, зная, что рано или поздно все будет именно так. Только не надо ничего говорить, потому что разговоры совсем ни к чему, они только путают, их не всегда поймешь, а все должно быть само собой, все должно быть постепенно, как бывает у всех, но это будет мое и поможет мне жить так же легко и просто, как живут те, кого я знаю. Это моя лучшая пора, мне еще нечему огорчаться и нечего вспоминать, все еще только начинается, потому-то я и радуюсь...

— У тебя соринка на губах.

— Сотри! — Она подалась вперед губами, шутливо сжимая их в трубочку. Если он не совсем дурак, сейчас он ее поцелует. Потом даст волю рукам, — кругом-то никого нет, чего ему бояться? А она его оттолкнет и убежит. Потом начнется их роман. Он будет водить ее в кино, угощать мороженым, дарить цветы и целовать на прощанье в подъезде. Месяца через четыре они поженятся. Сначала им будет трудно, но потом они получат квартиру, четырехкомнатную. У них будет четверо детей, два мальчика и две девочки, мальчики в него, а девочки в нее. Иногда они будут ссориться. Иногда он будет гулять со своими дружками и она будет легонько бранить его. Они будут любить друг друга — спокойно, тихо и регулярно. Может быть, она когда-нибудь изменит ему, из любопытства. Он будет отдавать ей все деньги до копейки, а она будет вести

дом, смотреть за детьми и даже в магазин ему не позволит ходить — все сама. Они будут тихо стареть, а их дети вырастут, поступят в институты, обзаведутся семьями, и у них будут внуки. И еще...

Она не успела додумать, потому что близко ощутила сухой жар мужского тела, и вдруг испугалась. «Ой, мамочка!». Казалось там, внутри, у него все выгорело, дотлевали угли, он пустой. Она ощутила безграничную тоску этой пустоты и еще ощутила, по тому, как он к ней прикоснулся, что он как слепой на людной улице— вот-вот упадет и водит руками, отыскивая, за что бы ухватиться. «Мамочка, мама!» Ей хотелось самой обнять его, обхватить покрепче, потому что он был как мертвый, как тяжелобольной, она чувствовала это, непонятно как, и ей казалось, что этот человек на ее глазах тает, уходит в небытие и нужно поскорее забрать его в себя, отнять у земли, которая тоже женщина. Она испуганно ощутила, что ей, быть может, уготовано совсем другое — не брать себе на радость, но вечно жертвовать, страдая и мучаясь. Что она, как богородица, способна зачать безгрешно, но для этого ей надо забыть самое себя и слышать только то, что говорят в ней древними голосами милосердие, жертвенность и любовь. Она страшно перепугалась, ей вовсе не хотелось быть ни иконой, ни опорой для калек и брать на себя человеческое несчастье, не в силах ему помочь. Но она все так же стояла на коленях, закрыв глаза и ощущая старчески бессильные, равнодушные прикосновения, а вместе с тем — благодарные, и это-то и было страшно.

Она еще ждала, когда он наконец что-нибудь себе позволит, чтобы оттолкнуть его и избавиться от невыносимого ощущения — ей возжигают лампадку, когда как она живая и хочет иного. Он должен себе позволить что-нибудь, потому что так бывало всегда. После танцев, в кино на заднем ряду, на вечеринках, в телефонной будке, в подъезде, во сне... Но он ничего себе не позволяет, этот Миша, и его нельзя оттолкнуть. Но она все же отталкивает его и тут же пугается, отвернувшись, тычется лицом в ладони, и ей хочется реветь, не видеть его больше. Чтоб он сгинул, пропал!

Она слышит сзади шорох — он встал и уходит. Она стоит на коленях, вокруг нее, насколько глаз хватает, стелется зеленая пустыня болота с бегучей тра-

вой, с расплавленным солнцем, а скоро зима, скоро выпадет снег и прикроет траву... И в голову лезет разное несусветное — она вдруг видит, как он идет по порошe босиком, а кругом все та же пустота, чахлые, присыпанные снегом кустики, острые обгорелые деревья, ее умок мечется загнанной мышкой, ничего не может понять, жалобно попискивает, тычась то туда, то сюда, стараясь спрятаться, забиться в укромное тихое местечко, где его ничто не потревожит. А сама она уже знает, что ей надо делать, как жить, она даже знает, что будет жить именно так, и уже готова разреветься над своей несчастной долей, но тут, спохватившись, вскакивает и бежит за худощавым мужчиной, который, сутулясь, идет по мари и кричит.

— Миша! Ты что, обиделся, да? Миша, да подожди же!

3.

Гибкий длиннохвостый зверек с остистой коричневой шерсткой выскользнул из-под растущего над водой тальникового куста, где была нора, и столбиком встал на берегу, подолгу рассматривая предметы выпуклыми темными глазами, в которых двумя свечечками дрожали отраженные водой блики солнца.

Нутрия...

Она посмотрела на воду, близко нагибаясь к ней и видя отражение своей скуластой, усатой мордочки, как бы отмечаясь перед рекой — вот я пришла, имей меня в виду, — и вдруг прыгнула, войдя в воду без всплеска. Только гибкий лысеющий хвост чуть слышно хлопнул, как хлопает колеблемая ветром веточка, касаясь воды.

Она плыла, распластавшись тельцем и шевеля плоским, мощным веслом хвоста. Холодная немая полутьма колыхалась вокруг, и вдруг наверху, застя бегучий солнечный блик, возникала громадная фантастическая фигура — то жук-плавунец пересекал реку. А нутрия все плыла, шевеля усами и плотно прижав к туловищу передние лапки, а хвост извивался за ней.

Стайка рыбьей мелочи стрельнула во все стороны, и нутрия, дернувшись вправо-влево за их уносящимся просверком, заложила в воде вираж, круто загнула хвост и прошла над самым дном, разглядев в корягах

на дне, занесенных песком и опутанных водорослями, желтоватый блеск жестяной банки с опасными, острыми изломами откинутой крышки. Потом дернулась влево, и через мгновенье возникли над ней в зеленоватой воде очертания огромного тополя, выполосканного рекой до белизны. Она всплыла под ним, глотнула воздуха, услышала человеческие голоса и опять нырнула. Темной хвостатой тенью мелькнула на песчаном дне омутка и, уйдя в глухую тень ветвей, свисающих над водой, высунула на поверхность мордочку. Огляделась, прислушалась и, цепляясь коготками за землю и корни, изгибая дугой спину, колотя хвостом, вспрыгнула на обрывистый берег и там опять встала столбиком, прижав к груди передние лапки и низко свесив мокрые усы.

И вот тут она увидели рыбину. Метровая кета, высверкивая под заходящим солнцем серебряным панцирем чешуи, ворочалась в воде у берега, пытаясь подняться против течения. Она била хвостом, пыталась нырнуть, но всплывала, разевая рот, переворачивалась к небу, с которого безжалостно наблюдало за ее агонией солнце, ставшее к вечеру опять похожим на глаз, жемчужно мерцающим брюхом, и течение сносило ее назад, на ветви тальника. Она билась, поднимая фонтаны брызг, швыряла себя вперед, соря в воде красными, прозрачными пузырьками икры, проплывала метров пять, но силы иссякали и она опять замирала в воде поленом. Глаза ее застывали, течение несло назад, ее переворачивало, и белое брюхо всплывало над водой. Рот ее широко разевался, течение наталкивало на полощущиеся в воде ветви, выгибая их под ее тяжестью, и вода начинала шуметь, перехлестывая через рыбу, а она лежала, разинув рот и выпучив глаза, шевелила плавниками. Потом начинала биться, вода закипала пеной, и она опять плыла против течения, изгибаясь на один бок дугой и что есть силы толкаясь хвостом, соря икрой, билась, толкалась, пока глаза ее не мертвели и ее не переворачивало вверх брюхом.

Стоящая столбиком нутрия, прижав к груди лапки и подавшись вперед, следила за рыбой, не моргая, влага плыла в ее глазах сверху вниз, и казалось, что глаза слезятся. Нутрия следила за каждым движением кеты. Она никогда не решилась бы напасть на такую большую рыбину, но сейчас чувствовала, что та уми-

рает, слабеет, умертвляя себя каждым броском, перерывы между которыми становились все длиннее, все дольше белело из-под воды брюхо и все короче становились броски. И вдруг она, в очередной раз снесенная к кустам, забилась отчаянно, — так, что затрепыхались, стряхивая сор и насекомых, тальниковые ветви. И затихла, поводя хвостом и время от времени всплескивая.

И тогда нутрия нырнула. Она проплыла мимо рыбы, не глядя на нее и как бы не подозревая о ее существовании, а потом, резко вильнув хвостом, развернулась и пронеслась над самым затылком рыбы, но та только едва повела хвостом, словно была выше всего, что затевала тут нутрия, и не желала обращать на это внимание. Нутрия пронеслась над ней и услышала, как тяжело и скрипуче ходят ее жабры. Один плавник был полуоторван и из-под жаберной крышки лохмотьями свисало что-то скомканное, красное, игольчатое.

Нутрия вынырнула, глотнула воздуха и увидела, что рыба опускается на дно. Она нырнула следом, закружила вокруг, потом кинулась стрелой, прокусила рыбе голову и, задрав хвост, растопырив лапы, взмыла вверх, к поверхности, а рыба страшно забила хвостом и колесом заходила в воде, поднимая со дна муть, и вдруг затихла. Нутрия подплыла к ней, покружилась, схватила зубами твердую рыбью голову, наддала хвостом, всплыла и тут же, захлебнувшись, фыркнула — громадная тяжесть потянула вниз. Она перехватила кетину за спинной плавник и, изгибаясь всем телом, сильно и часто колотя хвостом, поднимая маленькую волну, выволокла на берег голову рыбы. Потом, упершись лапами, урча, прогрызла голову и стала вылизывать мозг.

Рыба мелко-мелко затрепыхала хвостом и, надув брюхо, извергла из себя красную струйку икры. Изогнувшись, шлепнула хвостом по земле, встала дугой, и красный ручеек порскнул в текущую воду. Икринки заскакали красными шариками, подхваченные течением.

Нутрия припала к земле и стала слизывать пролившуюся икру, искоса следя за кетой. А та перевернулась, опять хлопнула хвостом, перевернулась еще раз и забилась на земле. Нутрия отпрыгнула, по-кошачьи выгнув спину, но рыба затихла, и она мягко обошла ее, повернув к ней голову. Большое серебристое тело по-

тянулось, чешуя на нем постепенно тускнела, глаза подернулись свинцом. У самой головы белел заросший шрам, оставленный зубами нерпы, которая обычно караулит кету у устьев рек. А по всему рыбьему телу, пахнущему слизью, рекой, илом, шли красные, в облетевших чешуйках перетяжки — набухшие кровяные швы, оставленные тонкой леской сетей.

Нутрия еще раз обошла рыбу и встала столбиком. В глазах ее что-то отразилось. Что-то шмыгнуло туда-сюда, согнувшись, прячась. Деревья шевельнул южак и донес голос прибоя, шум волны. Какая-то смутная опасность заставила нутрию зашипеть. Она услышала запах резины, грохот конвейера. Увидела меркнущий тусклый свет в мутных от соли окошках барака на мертвом болоте, услышала запах тысяч мертвых рыб, и что-то подняло ее аккуратную шерстку дыбом. Она потянула рыбу в кусты, блестя выпуклым испуганным глазом и шипя.

Солнце садилось за лесом раскаленным оковышем. и от него в облаках лежали два узких розовых крыла.

Уехал красный автобус, ныряя на ухабах дороги.

Небо на западе потемнело, с востока поднялась фиолетовая громада и поползла выше и выше, постепенно разливаясь, становясь ночью.

Одноухий вышел из укрытия и встал один на пустой мари, вытянув к морю нос. Шерсть на его загривке шевелило ветром, раздувало, он видел, как постепенно белеет далекая волна.

Трава шелестела, стлалась и кланялась фиолетовой стене на востоке. Черные стволы горельника остановились и долгий вздох послышался оттуда.

Солнце зашло.

Пастух гнал стадо на ферму. Сытые коровы шли медленно и валко, отмахивая хвостами комаров, мычали, шлепая в болотной грязи раздвоенными копытами, роняли лепешки навоза. Собачонка трусила в ногах лошади, на которой ехал пастух, умильно поглядывая на колыхающийся в стремени сапог хозяина. Пастух посвистывал, хлопал бичом, ругался, бил каблуками в раздутые лошадиные бока, дергал повод. Лошадь, опустив голову и устало полуприкрыв глаза, шлепала себе и шлепала, не глядя на дорогу, которую знала давным-давно.

Одноухий проводил стадо глазами. Какая-то запо-

лошная пичуга, спохватившись, сорвалась и понеслась над марью, падая, опять взмывая, торопясь, вскрикивая «Спать пора, спать пора!» Облетела марь и понеслась дальше, возвещая конец дня. Большая красная луна тихонько всплыла над лесом, зависла и поплыла, поплыла. Одноухий вошел в реку и встал темным бугром, подняв нос к бегущей в воде лунной дорожке.

...Снова тишина приходит в мир. Она ходит тихонько, все ходит вокруг, шурша листьями, и смотрит на костер. Это знакомая гостья. Сколько раз я видел и слышал ее, нам можно бы уже и не прятаться, а она такая — все ходит вокруг, в темноте, как лисичка, шуршит. Все машет своим рыжим хвостом, направо, налево, а леса вспыхивают, прогорая, и пепел первых метелей уже выбелил тундру. А где-то на перевалах уже выпал снег и упал на зеленую траву и зеленые листья, они пригнулись к земле и несут его зябкую тяжесть, как вину, — ведь и деревьям не след забывать о пределе и временах года. Но, может быть, стоит жить только ради того, чтобы увидеть снег на зеленой траве и то, как она никнет. Ведь и трава прорастает сквозь снег, когда пригреет по-весеннему солнышко, первый ночной холод убивает ее, но каково же ей вырваться из-под снежной подушки к свету — раньше времени, ради погибели! К ней сбегаются белки и лисы, еноты и дикие кабаны и говорят ей: «Спасибо тебе, трава! Ты не побоялась, и мы славим тебя. Ведь все временно и даже солнце уходит от нас, зная свое время, а ты пришла к нам раньше, как подарок, спасибо тебе, трава! Мы жуем твою робкую, пахнущую летом жизнь и вспоминаем зеленые луга. Спасибо тебе, трава! Нас рвали тигры, пули, собаки, мы устали волочить себя по снежной целине и прокладывать борозды, в которые не упадет зерно, но мы помнили о тебе. Спасибо тебе, трава!»

...Спасибо тебе, лимонник! Я увидел тебя когда-то на реке Стеклянухе под Шкотово, в огне и золоте осенней тайги. Твоя красная гроздь свисала с ветки ильма и была похожа на люстру, как маяк, что светит для всех, кто бродит без тропы с наивной надеждой услышать утренний рев марала, когда в кустах еще клубится туман, осыпаясь на лицо и одежду мелкой водяной влагой, а гулкое эхо летит от одного склона распадка к другому и потом долго отзывается в туманной мгле

далеким, рассеянным отголоском. Я увидел над головой твою ярко-красную гроздь, и свет твой проник в меня и зажег слабенький боязливый огонек, но я был голоден, зол, съеден комарами и не знал, сколько мне еще идти, сколько костров жечь. Мой нож сверкнул, руки сорвали со ствола лиану и высыпали в кипящий над огнем котелок две полные пригоршни красных ягод. Ты отдал мне свою силу, растворенную в вяжущем язык густом отваре, и я пошел дальше, унося в рюкзаке свернутую в жгут лиану, и видел, как ночью на перекатах прыгает в бледно-голубой, пенистой, шумливой, быстрой воде форель. Спасибо тебе, лимонник!..

...Спасибо тебе, белый камчатский сокол! Ты появился в секторе зенитного стрельбища, над простреленным, изувеченным осколками лесом, когда над нами прогрохотал старый штурмовик, волоча на тросе за собой похожий на бумажного змея конус — учебную цель. Еще палили пушки, приседая и раздувая над собой шары коричневой пыли. Ты вдруг появился в небе, в косом развороте на крыло. Хвост конуса еще несся, со свистом разрезая воздух, а ты ошалело взмыл, замер на крыльях на мгновенье и панически замельтешил ими, уносясь прочь, но рядом с тобой сверкнула фосфорическая игла трассирующего снаряда, тебя отшвырнуло разорванным воздухом, ты сложил крылья, камнем упал к опаленной земле, и, словно бы испугавшись ее порохового запаха, свечкой вошел в зенит, и опять упал и взмыл, заметался, кувыркаясь. А на стрельбище, в перерывах между залпами, возникала вдруг веселая ругань, на запыленных лицах сверкали зубы. Ты метался в дырявом, простреленном воздухе, кувыркался с крыла на крыло, выделывая фигуры высшего пилотажа, а пушки грохотали. Я сам сидел в кресле наводчика, вел спаренными стволами и ловил в коллиматор твой обалдело мечущийся белый комочек, давил сапогом на лязгающую педаль спуска, и красные, раскаленные стальные шмели, под грохот сыплющихся пустых гильз, чаханье пушки и вонь сгоревшего пороха выжигали под тобой воздух. Ты кувыркался с крыла на крыло, потеряв под собой опору, а потом с отчаянной решимостью спикировал, сложив крылья и у самой земли выправившись, растопорщив все перья, белой стрелой молнией понесся прочь, едва не задевая верхушки деревьев. У пушек вышел учебный комплект, солдаты

снимали шлемы, смеялись, незло перебраниваясь, оседала рыжая пыль, сухо потрескивала накаленная сталь. Ты мчался над лесом сломя голову, и только одна заклинившаяся установка все еще палила в синее небо, к ней бежали офицеры. Ты мчался, как самоубийца, хищно подогнутым клювом тараня воздух, и беззлобная солдатская ругань летела за тобой следом. Ведь я не знал тогда, сколько вас осталось, и не знал, что твой прилет — это дерзкий, отчаянный вызов человеку, тебя истребившему...

...Спасибо тебе, нерпа! Ты ныряла у входа в Авачинскую губу, зеленая океанская волна поднимала тебя, а мимо шла тяжелая громада корабля, и на всех его открытых палубах спали моряки, подложив под голову вещмешки, и надо было переступать через раскинутые ноги в суконных клешах и грубых ботинках, чтобы добраться к борту. А внизу, по роскошным салонам в зеркалах и медных завитушках, по лестницам, ковры на которых были прижаты начищенными медными прутьями, толпами ходили за редкими девушками солдаты, неуклюже пошучивая. Нерпа, ты ныряла у самых скал, в тот час, когда берега темнеют и на обрывах зажигаются огоньки погранзастав, когда в Петропавловске-Камчатском уже ночь и улицы режут подножье сопки красным пунктиром зажженных фонарей, а белые, будто сахаром осыпанные верхушки вулканов еще розовы —и закат еще полыхает на них, розовые снежные конусы горят над городом, рдеют. Скрипят краны в бессонном порту, в ресторане «Авача» дым стоит коромыслом и пляшут рыбаки с Сероглазки, их лица полыхают, опаленные тем же огнем, что и конусы нависающих над городом вулканов, а у Трех братьев — трех каменных пальцев, в которые бьет океанская волна, — ныряет нерпа и глаза ее изумленно круглы. Спасибо, тебе, нерпа!..

...Спасибо тебе, большая щука! Ты родилась в кофейной гуще великой реки, три года ты гуляла у берегов, разглядывая в темной толще воды добычу. Ты кинулась на пескаря, который бился в воде, странным образом не убегая, ты налетела из коричневой гущи реки-дракона, пасть твоя хлопнула, и ты тут же развернулась, блуждая жадными глазами. Но тут каленое острие японского крючка вошло тебе под язык, и ты забилась, выделывая кренделя, и твое белое брюхо за-

ходило в воде колесом. Мимо тебя проплыла стая верхоглядов, потом солидно прошла большая калуга и рыбья мелочь заблестела вокруг, простреливая коричневую воду, словно бы все поняли, что ты на привязи и тебя не надо бояться. И, сжав длинный рот, образумившись, ты понеслась встречь течению, чувствуя упругий натяг и видя в темной воде стремительно перемещающийся за тобой тугой и светлый бич толстой лесы. Ты бросилась назад, потом растопырила плавники, тормозя, и из твоего разинутого рта выпал язык, подсеченный жалом крючка. Ты сопротивлялась до последнего, а когда чиркнула брюхом о скользкую гальку, заворочалась, забила хвостом, но тут твоя длинная голова выползла на сухие камешки, солнце ослепило тебя, и ты не сразу поняла, что сорвавшийся крючок летит в воздухе и вслед за ним блескучей петлей опадает ослабшая леса. Ты шевельнула плавниками, стягивая себя с жестких, жгучих, сухих камней, уползая назад в прохладу воды, но тут рядом с тобой что-то грохнуло, подняв фонтаны брызг и песка, какой-то жесткий обруч прошел по твоему скользкому телу. Соскользнув, ты заворочалась, и тут я отшвырнул тебя от воды и ты взлетела, перевернувшись, а я упал на тебя и целовал тебя в скользкую хищную морду, пытаясь удержать яростные, рысшвыривающие гальку рывки...

...Спасибо тебе, дикая утка! Ты летела в плотном и синем воздухе, который холодил поджатые перепонки на лапках, и видела под собой соевые поля, каналы, озера и болотца, заросшие осокой. Ты видела, как летящая клином стая изгибается дугой, пересекая границу меж предземным воздухом и чернотой холодного ночного неба, в котором уже разгораются звезды. Ты совсем не чувствовала воздуха, он был по-вечернему плотен, и тебе казалось, что ты можешь ходить по нему, когда там, внизу, на земле, где уже начали падать с тихим стуком желуди в дубовых лесах и зажелтели скошенные поля, вдруг что-то огненно сверкнуло. А потом ты услышала грохочущий, приглушенный высотой звук, горячие рассеянные дробинки застучали по твердым перьям на крыльях твоих соседок, а тебя подбросило, смяло, перевернуло, и ты сразу вдруг поняла, что воздух не тверд и плотен, что он весь состоит из углов, ты обломила о них крылья и умерла, ударившись о

землю. Спасибо тебе и прости. Может быть, душа твоя попадет в рай, и если бы ты смогла выбирать, что бы ты выбрала? Торфяные болота тундры, желтый горизонт на закате и мхи, покрытые желто-красной россыпью морошки под карликовыми березками? А может быть, Африку? Каким ты увидела рай, когда умирала? Спасибо тебе и прости...

4

И вот ночь тронулась, прозвенел бубенец. Тихонько зашуршала в темных деревьях листва, словно бы под тысячью крадущихся ног, и кажется, что это ночные стада текут бесконечным потоком, все быстрее, быстрее. И вот уже воздух дрожит от гула черных копыт и какая-то стремительная блескучая масса стремительно несется над землей, огибая светлый круг на берегу реки, где горит костер, бренчит гитара и хохочут мужские и женские голоса за раскладным парусиновым столиком, уставленным банками, кружками.

Вот из-за столика поднялся бородач и, почесав волосатую грудь в вырезе тельняшки, сделал шаг в обход костра, приостановился, вдруг хищно подобрался и прыжком сиганул через пламя. Красный язык огня, запоздало взлетев, тронул резиновые подошвы кед.

Женский визг:

— Женька, ты спятил, а если бы упал?!

— Он — как лама!

— А что это — лама?

— Лама — это пума.

— Ой, Олька, не могу прям, ха-ха-ха!

— Ну что ты смеешься, дурочка?

В темноте — стук топора, басовито хохочет бородач и, крутясь, летят к костру полешки.

— Ой, а что это за морда в кустах?

— Где?

— Вон, вон!

— Лошадь, братцы!

В кустах, рядом с капотом «Жигулей» — полусонная лошадиная морда, гнедая спина с раздутыми боками и неуверенно улыбающаяся на разгул физиономия пастуха. Из темноты с охапкой поленьев и топором вышел бородач, с грохотом ссыпал поленья, отряхнул руки, прищурился:

— О-о-о! Это кто в гости к нам? Кто на лошади маячит?

— Да я вот мимо еду, дай, думаю, заеду...

— А ты что это с ружьем, охотишься на кого?

— Да не... Вы уж извините, если помешал. Я вижу — люди, костер, а тут, между прочим, медведь ходит. Думаю, дай заеду. Я тут пастухом работаю, в совхозе.

— Пастушок, пастушок!

— Райка, не конфузь человека.

— Слезай с коня, камрад, ставь рядом с «Жигулями». Девки, покормите человека!

— Да я...

— Ты мужик бодрый, конопатый, ты это брось! Садись, ешь.

— А вы из города, что ли?

— Какой он милый и пятнистый...

— Да ну...

— Чего — ну?

— Я говорю — медведь тут ходит, так вы поосторожней...

— А мы медведя не боимся, мы сами, как медведи. Ну чего косишься, чего краснеешь? У тебя рожа шире вокзальных часов, а ты застеснялся двух баб. Дайте лошади бензина, а пастуху овса!

— Ха-ха-ха!

— Какой он милый, милый и конопатый, как пасхальное яичко!

А ночь уже несется, как дикий табун, черная пыль поднялась непроглядным облаком, и с листвы осыпается гул копыт, дикое ржанье и храп, красная луна мчится погонщиком, волосяным арканом присвистнет ветер, и в предсмертном всхлипе захлебнется чья-то душа. Вперед, скорее, ночь мчится за убегающим солнцем, орда вскинула блестящие жала сабель, и пошло гулять звездное мерцание отточенной стали!

... — Ну, наелись? А сейчас — купаться, быстро!

— Вода холодная, сумасшедший!

— Женька, мы же утонем! Женька!..

— Никаких!

В реке плеск, свист, хохот. Старый рязанский плут сидит в кустах с ружьем, наблюдает. У-у-у, мокрохвостые, черт их принес! И не прогонишь—вмиг накостыляют. Очень даже свободно накостыляют. Луна висит

тяжело и низко, давит, тревожит. Пастух вылез из речки синий, поляскал зубами у костра и куда-то мотнулся на лошади. Русалки плещутся и визжат. Рязанский плут суется ближе, ерзает, глядя на облитые красноватым лунным светом молодые тела. Любопытно ему.

...И в кровавых отсветах костра чудится, что у девок не ноги, а мерцающие чешуей хвосты колышутся под водой. На головах у них венки, и поют девки, ломая руки, поют жалобно и моляще, так поют, что у сидящего в кустах плута обморочно заходится сердце и редкие волосы на макушке приподнимаются с электрическим треском, распространяя мерцание. Вот бронзовотелый бес, бородатый, широкогрудый, выпрыгнул на берег, швырнул в костер охапку валежника, пламя подпрыгнуло, а вслед за ним поползли вверх, увеличиваясь в размерах, гигантские лопухи, поднялись выше деревьев, нависли мясистыми зелеными краями. Лианы повисли, толстые, волосатые, какое-то зверье запрыгало, хохоча, а из кустов — оскаленные рожи, одна страшней другой. Вой, хохот... А бородатый бес стоит у костра, глаза его лукаво блестят, копытца притоптывают, поигрывает бес концом хвоста, подбоченясь, и маленькие белые рожки в его шевелюре светятся. Воздух вдруг качнулся, поплыл, деревья закачались к самой земле, будто трава, и не воздух это уже, а вода; рыбы какие-то плавают, и высоко-высоко наверху селезнем плывет луна, покачиваясь на волне. С закинутой головой всплыл утопленник — худой волосатый парень в футбольных трусах. Кончики черных усов колышутся в воде, а лицо бледное, печальное. Вот он уже над лесом всплыл, и несет его вверх, ноги распластав и руки, несет к черному мерцанию, в котором, будто крупинки инея на стекле, искрятся звезды. Бородатый бес бьет у костра в бубен, закинув хвост на плечо, и пляшет ему жирная бесстыжая ведьма, колышется вся, трясет грудями, и на толстых губах ее млеет, красным цветком расцветает похотливая улыбочка, полузакрытые глаза ее— как половинки луны. У-у-у! — несется по лесу. Полыхают холодным пламенем гнилые пни, тени умерших рыб заслоняют луну. Вдруг с самого дна с жалобным криком несется к висящему под луной утопленнику юная светловолосая дева. Она бьет хвостом и мчится все выше, оставляя мерцающий след, а распущенные волосы летят за ней, распугивая тени. Вот догнала, обняла, об-

вилась хвостом, приникла к нему, он слабо шевельнул рукой, приподнял голову, встряхнулся, просыпаясь, глянул вокруг и, наклонив рукой, прижал к груди ее голову, а вокруг них замерцал необъяснимый свет, все ярче, ярче, вот уже и лампасы на трусах ожившего утоплого видно. Обнял он тонкую спину девы, а другой вынул из-за спины меч, и оба двинулись вверх, все выше, выше, сияют оба, различимые до волоска. А внизу, мотая волосьями, скачет, извивается смуглым телом ведьма, бьет в бубен, бес перебирает копытцами и хвостом бьет у себя на спине комаров. Вышел из кустов медведь, замахнулся лапой, взревел. Бес подпрыгнул и, раскаляясь на лету от трения, полого, с грохотом прошелся над лесом. Весь светящийся, роняя горячие капли и черные клочья окалины, задрав горящую голову, вертикально вонзился вверх, сделал мертвую петлю, грохоча и оплывая, пронесся над самыми макушками. Ведьма уселась на ветку, пришпорила ее, понеслась за бесом вдогон. Лес вспыхнул, полетели горящие сучья, сваренные белобрюхие рыбы с опаленными хвостами поплыли вверх, туда, где метеором носился бес, скалясь и показывая ведьме язык. А из кустов вышел громадный человек с лошадиным туловищем до пояса, в распахнутой на голой груди телогрейке. В одной руке — ружье, а в другой—амфора, из которой плещет, вспыхивая рубином, хмельное зелье — ведро с голубичной бражкой. Получеловек-полуконь приложился к амфоре-ведру, задрал молодое конопатое лицо с шелушащимся носом, да как заржет — и-го-го! и-го-го!

...От этого дикого ржанья что-то с грохотом раскололось в небе, рухнул белый обвал, шарахнулись ночные стада, дохнуло холодом, засвистела звездная пурга, вымела лес, и все стало белым. Вот и выпал снег на зеленую траву, и зеленые ветки под белыми шапками склонились к самой земле, ударил мороз, небесную волну сковало льдом, и стало вокруг темно и беззвездно. Но бес, приплясывая от холода, швырнул в потухающий костер охапку сушняка, потекли ручьи, в небесных лугах проросла трава, деревья торопливо зазеленели, пожелтели, сбросили увядшую листву и опять зазеленели и опять сбросили, а желтые вороха листьев поднялись к самым макушкам. Получеловек-полуконь зашевелился у костра, неверно и пьяно перебирая ногами и шаря вокруг себя ружье. Бесы и ведьмы закружи-

лись вокруг него со смехом, подталкивая ладонями, он встал, постоял, шатаясь, и прыгнул в небо, рванулся вперед, крыльями разбросав полы телогрейки и выставив поседевшую от инея грудь; мелкая звездная пыль на выгоревшей дороге Млечного пути закрутилась за ним. Сорвал он с плеча берданку, и Большая Медведица, встав на дыбы, припустила от него, вскидывая зад. Грохнул выстрел, согнулись леса, сверкающая комета понеслась к границе вселенной и, вспыхнув, пропала. И Медведица, и охотник вдруг распались сияньем, и тихий серебряный дождь пролился в черноте. А высоко-высоко опять возникла дева. Она сидела на Юпитере, кокетливо поджав хвост, расчесывала свои сверкающие волосы и пела что-то нежное, открывая алый свой рот, прикрыв глаза, а рядом с ней на неуклюжей глыбе астероида, едва умещаясь на нем косолапыми ступнями, метался по сложной орбите худущий воин в футбольных трусах с белой полосой. Восходил в зенит, пропадал и опять возникал, прямой и длинный, сияя длинным острым мечом. Метался, как пчела, прикрыв глаза бледными веками, и дева пела, расчесывая свои струящиеся волосы. Плавно двигался гребень в тонких руках, застывал вдруг, вздрагивала грудь, чуть вздрагивали полузакрытые глаза и все нежнее пела дева, будто в ожидании, будто зная, какое течение подхватит ее и понесет, то раня, то лаская. Пела, расчесывала волосы, и бледный, полумертвый от любви страж метался вокруг нее, отчаянно чувствуя горлом холод отточенного лезвия. ...А грохот копыт редел и стихал, и потускнело око погонщика, и потихоньку оседала черная пыль — проредило ее, отжало к земле, и тусклая первопричина дня открылась и застыла, еще не заполненная, пустая, и тишина завязла в ней, пока не колыхнула ее эхом барабанная дробь утреннего дождя...

...Старый браконьер очнулся от холода. Очнулся и услышал душный огуречный запах мокрого папоротника. Было парно, тускло, ознобная дрожь била его. Он поднял ружье, обжегшись о настывшие, взявшиеся испариной стволы, встал и тут же, чертыхнувшись, присел — целый дождь капель обрушился с потревоженных ветвей. Вылез из кустов, закинул ружье за плечо, постоял, поудивлялся черт-те чему, вспомнил свой сон и сплюнул — приснится же погань... Надвинул на глаза козырек фуражки и, шурша в мокрой траве сапо-

гами, пошел по берегу к своей палатке. Взгляд был тяжел — подглазья, запухнув, тянули. Позевал. Ску-у-у-учна! Закурил папиросу, морщась и покашливая, понемногу очнулся, поплескал из речки водой на лицо, утерся, стараясь понять, что это его все зудит и точит? Что за притча с утра навязалась? Посмотрел, посмотрел на реку, моргая, вдруг понял и разом озлился. Где рыба? Нет рыбы, так твою в душу, в глотку, в спину и всяко!

5.

Одноухий вышел из реки перед рассветом. Он был голоден и зол. Рыба не шла, и он не мог понять, почему. Река пахла рыбой. Рыбьей слизью, рыбьей смертью. Он слышал немые крики лососей, крики погибели, река была полна ими, но рыба не шла, и это было похоже на обман, злило и распаляло Одноухого. Ему казалось, что там, в низовье, бродят сотни молодых сильных медведей, они бьют рыбу и рыба кричит. Он порывался идти туда, но не шел, хотя и злился на неведомых ему соперников — смутное предчувствие, что туда, вниз, ходить нельзя, останавливало его. Эта нелепая раздвоенность была не в его природе и бесила Одноухого, но молоточек, постукивая в голове, нашептывая ему: «Не ходи, не ходи!» действовал на него сильнее голода. Он всегда был осторожен, и это его спасало. Потому-то он и прожил так долго, пережил леса, которые прежде росли здесь, на месте мари, лосей и зайцев, которые жили в этих лесах. Он нарушил все законы своей упрямой жизнестойкостью, вырвался из кругооборота, в котором зверей сначала убивали, а потом уж переделывали по-своему места их обитания. Круг нарушился, порвалось одно тоненькое звено во всеобщей цепи, и вся цепь, потеряв свой порядок и стройность, перепуталась каким-то диким клубком. И теперь год от года надо было наново привыкать к чудовищным изменениям того куска мира, в котором он родился, к которому привык и который не собирался бросать, что бы там ни случилось. Он видел, как умирают до срока деревья и на месте лесов возникают равнины, колышущиеся желтыми стеблями овса. По его тропам бежали машины, люди бродили по его ягодникам, деревянные столбы с проводами соглядатаями пробрались в самые

глухие уголки и некуда было деться от их пчелиного гуда ни днем, ни ночью.

И он научился быть тенью, ходить незаметно, рыться в помойках, прятаться в бетонных трубах, проложенных под дорогами для стока воды. Он прятался в трубах, потому что больше некуда было спрятаться на голых полях, где пылали скирды соломы. Гарь и зола забивали ему ноздри, но он терпел: он знал, что его мир завоеван и поэтому привередничать не приходится. Он зимовал на старых вырубках, брошенных людьми, и каждую осень уходил на свою речку мимо деревень, поселков, дорог. Он упрямо жил жизнью медведя, хотя это было скорее пародией на нее. Чужое время, чужая жизнь, чужие запахи были вокруг него.

Как-то раз, когда он лежал у железной дороги, ожидая, когда пройдет поезд, из проносящегося вагона вдруг дохнуло запахом медведицы, он услышал ее рев, лязг клыков о прутья решетки. Вся шерсть на нем встала дыбом. Он вскочил и жадно тянул ноздрями этот запах, который несло в темноте вдоль путей громыхающим ветром колес. Но не побежал, не бросился догонять, хотя запах самки, пробившийся сквозь чадную тепловозную вонь, разбудил в нем его начало, а стоял, ожидая, когда покажутся огни заднего вагона — два широко расставленных тоскливых глаза. Потом перешел путь и побежал, стал рыскать, нервно порыкивая, закружил по болотам и лесам, отыскивая хоть след этого взбудоражившего запаха. Он рыскал всю ночь, а под утро, оказавшись где-то в болоте, укрытом подушкой тумана, взъерошенный, с налитыми кровью глазами, заревел, как ревела там, в клетке, медведица. Этот одинокий рев в сырой глухоте опустевшей земли достиг слуха мелиораторов, заночевавших в вагончике, и они потом долго и возбужденно обсуждали, ревел ли то динозавр или другой какой-нибудь доисторический зверь, следы которых, по слухам, еще находят в глухих уголках земли. Ни один из них даже предположить не мог, что здесь, среди канав, прорытых под дренаж, гор земли и выкорчеванных пней, может бродить медведь, затосковавший по самке.

Он знал, что где-то в горах, в дикой буреломной полутьме, куда не добрались еще трелевочные тракторы, есть старые липы с дуплами, полными дикого меда, и есть медведи, но зачем он был им — в их размерен-

ной и простой жизни? Разве они смогли бы понять его? Он знал, как поступают с чужаками, потому, что сам поступал с ними жестоко и просто.

Одноухий шел вдоль реки. Небо серело, звезды гасли одна за другой, с моря тянуло солью и йодом. Он слышал отдаленный грохот прибоя и шел, опустив башку к земле. Опять пришла в голову боль, остренький молоточек застучал под черепом, и зрение, теряя вдруг остроту, стало мешать Одноухому. Боль стучала и стучала, деревья и кусты чуть расплывались в глазах, этого не должно было быть, и Одноухий, злясь, чуть слышно ворчал.

Он вышел к вытоптанной полянке и увидел прогоревшее кострище, покрытое пеплом. Тоненькая струйка дыма поднималась от обугленной головешки вверх и терялась в листве. У костра, натянув на голову телогрейку, спал пастух. Привязанная лошадь, учуяв зверя, билась в кустах, всхрапывала, тоненько ржала.

В палатке, стоявшей рядом с «Жигулями», тихонько переговаривались люди. Пахло человеком и всем, что ему сопутствует. Запах был едкий, приторный, трусливый и наглый запах. Одноухий стоял жмурясь, тянул его в себя, а лошадь все билась в кустах, всхрапывая и отряхивая от росы ветки. Потом в палатке кто-то закашлялся и медведь тихонько упятился в кусты. Нашел пустую банку из-под консервов и тщательно вылизал ее. Потом лег и положил голову на лапы. Боль мучила его, не давая покоя. Он полежал, тихонько рыча, потом встал и пошел лесом вдоль реки по кустам, отыскивая съестное. Нашел мышиную нору, долго раскапывал ее, ворча и сглатывая слюну, вырыл большую яму, но ни мыши, ни запасов ее так и не нашел. Посидел на куче земли, прижав к груди передние лапы, и пошел дальше.

Наставало тяжелое, сырое утро, и птицы не пели. Он миновал ферму, постоял в зарослях, наблюдая, как толкутся в загоне коровы, по колено проваливаясь в жидкую, перемешанную с навозом грязь, обошел ферму вокруг и свернул от реки к овсам. Когда рассвело, он был уже далеко от реки, у грунтовой дороги, где кончался лес и начиналось большое поле овса. Далеко, на противоположном его конце, виднелись скирды соломы, стояли комбайны, слышались хрипловатые спросонья голоса и лязгало железо. Одноухий, идя вдоль кромки леса, заходил в овсы, ел и шел дальше, посматривая на

красные громады комбайнов.

Сизая туманная пленка, плывущая над лесом, разорвалась, и голубым клочком проглянуло небо. Тучи шли в три слоя. По-над самыми верхушками плыла сырая мгла, постепенно редела, застревая клочьями в ветках деревьев, иссякала в них, осыпаясь на лес мелкой мгой. Выше громоздились темные, разбухшие от влаги облака, а еще выше, подпирая небесную голубизну, плыли перьями гигантских птиц редкие белые клочья. Там шло непрекращающееся движение, и солнце, уже взошедшее, нет-нет простреливало весь этот слоеный пирог, и столбы света падали на землю то там, то здесь в образовавшиеся прорехи. Облака редели, солнце высверкивало все чаще, потом с моря задул сильный верховой ветер, всю облачность смяло, понесло, и теперь в небе плыли только высокие белые клочья. Солнце то появлялось, то пропадало, и сразу начался день, нарушая древний порядок перемены состояний. Утро осталось в тени, под мокрой травой, не успев кончиться. В лесу капель опадала с ветвей каскадами. Ветер тряс траву, стремясь исправить то, с чем не могло справиться прохладное солнце. Но сырой лес шевелился вяло. Было сыро, зябко, а в траве за ночь обозначилось еще больше пожелтевших прядей. Только к обеду нагретая земля задышала, опять взошло над травой марево, и двинулись в свой бесконечный путь черные стволы горельника.

А Одноухий шел, шел, пересекая ручьи и болотца, и скоро вышел к морю.

Вдоль побережья тянулось болото с голубичником, он попасся и по осыпающемуся склону взобрался на песчаный холм с выбеленной ветрами корягой на верхушке. От моря сильно дуло и трепало Одноухому бороду. Он стоял, жмурясь, смотрел на бесконечное пространство, в котором не было постоянства, тер лапой нос, который щекотало острым причудливым запахом, потом спустился и пошел по вылизанному волнами песку, роясь в кучах водорослей, выброшенных недавним штормом. Он подошел было к самому накату, любопытствуя, но тут пенная волна схватила его за лапы, он рявкнул и отскочил, взъерошив на загривке шерсть и оскалив клыки. Успокоился и опять пошел, опасливо поглядывая на море и угрожающе порыкивая на него. Нашел маленькую, уже отвердевшую камбалу

и съел ее. Небольшой краб вцепился клешней в шерсть под носом Одноухого, он смахнул его лапой, раздавил и вылизал панцирь, ощутив слабо и мимолетно, как воспоминание, сладкий и нежный вкус крабьего мяса.

Он никогда не видел моря, которое шумело и прыгало на берег зверем, дурачась и играя, никогда еще не заходил так далеко от речки, но, в общем-то, он его не боялся. Отчасти стоило его опасаться и не приближаться слишком — мало ли что может оно натворить с тобой, играя. Но бояться его не надо было. Одноухий это чувствовал. Он слышал непривычный и резкий запах моря, в котором не было и намека на подлость, почему-то знал, что зла от него нет, как нет зла от леса и реки. Ничто не было опасным само по себе, даже машины, от которых он прятался. Он чувствовал, что зло возникает хитро и непонятно отчего, в нем нет постоянства и нужно быть всегда начеку. Он просто знал это — и все.

На мгновенье, когда он смотрел, как качается на волне, то поднимаясь, то исчезая, стеклянный шар, какими рыбаки обозначают сети, в нем мелькнуло отдаленное воспоминание... Лед пролива, ночь, медведица ведет его к невидимому берегу острова с материка, и вдруг — треск, черная трещина на присыпанном снегом льду, начинается подвижка, со всех сторон лед колется, глыбы налезают друг на друга, его опрокидывает в ледяную соленую воду и сильно бьет по голове, он кричит, барахтаясь, медведица валится в полынью, вышвыривает его на лед и, подгоняя жестокими оплеухами, гонит вперед... Воспоминание мелькнуло искрой и погасло. Он пожевал длинную плеть морской капусты, высоко задирая башку, потаскал по берегу дырявый сапог, потом ему надоело, он ушел от ветра и лег за песчаный надув.

Стада песчинок вскачь неслись по ветру, шурша. Он следил за ними тусклым взглядом, не ожидая ничего нового. Ничего нового не было в этом мире, хотя жизнь и менялась день ото дня. Боль и беда, голод и радость шли по пятам, и никакая новизна не могла отпугнуть их, и не стоило удивляться морю, которого он никогда не видел. Море тоже было всегда. Нескончаемое повторение одного и того же в непонятном разнообразии перемен ничего не меняет.

Одноухий лежал, положив голову на лапы, прикрыв

глаза, и чувствовал, как к нему приходит покой. Великий покой. Он легок, в нем исчезает страх, раздражение от бесконечных требований ненасытного брюха, и великое терпение, и злость — все. Покой приходит и не трясет настырно, не кричит в ухо, что опять надо вставать и идти, идти, даже если нет сил, он окутывает лаской, тихим теплом, и вдруг приходит понимание, что ничего не нужно. Совсем ничего. Зачем? Пусть другой, заняв освободившееся место, живет и радуется, а потом мучится, не в силах угнаться за тем, что уходит, и пусть мечется, спотыкается и мотает из себя жилы в погоне за вечной весной, не зная или не желая знать, что вечная весна — это цепь весен, сцепленных в единое целое. Ничего этого не нужно, когда приходит покой.

Одноухому было хорошо, но потом его опять настигла боль и рывком вернула назад. Боль мешала лежать, но Одноухий упрямо лежал, ждал, когда она откатит, нетерпеливо ждал, чтобы боль ушла и опять пришел покой, но она не уходила и грызла голову мышью. Он вскочил и опять пошел бродить, ворочать плавник, разгребать водоросли и так, на ходу, было легче. Боль забывалась и понемногу откатывала. Одноухий не знал, зачем все это нужно, он ничего не хотел, но кто-то жестокий и неумолимый толкал, заставлял его, и Одноухий делал то, что должен был делать, постепенно смиряясь. Бешеная ярость первых минут пробуждения скоро иссякла в нем, глаза потухли, он успокоился, погрузился в привычную апатию, когда что-то в нем спало, а что-то двигалось и что-то там делало. Он брел то туда, то сюда, взбирался на песчаные холмы, ел голубику и иногда, на ходу, забывал, куда и зачем он идет. Стоял, вспоминал и, ничего не придумав, начинал яростно чесаться.

Он уходил от моря той же дорогой, какой пришел, избегая возвращаться на след. Скоро опять вышел на овсяное поле и увидел двух полуголых комбайнеров, которые сидели на застеленной брезентом копешке и обедали, о чем-то переговариваясь и смеясь. Плотные прозрачные капсулы въедливых запахов солярки, пота и табака висели над ними. Один из комбайнеров, что-то рассказывая смеющемуся товарищу, надкусил огурец, сплюнул и, скривившись от горечи, отшвырнул его в кусты. Огурец прошуршал в ветвях и, упав рядом с

Одноухим, сочно шмякнув о корень, разбился, рассыпав по земле студенистые потроха и длинные бледные семечки. Медведь дернулся от неожиданности, потревожил куст, потом, не отрывая глаз от комбайнеров, нагнулся и осторожно полизал семена языком.

— Ты глянь, куда забрела! — глядя в кусты на шум и отставив кружку с молоком, сказал комбайнер. — Опять поле вытравят, кто за ними смотрит, хотел бы я знать.

Он швырнул в кусты корку хлеба и засвистел.

— Ты на кого это? — спросил второй.

— Да корова в кустах шарахается... Эй, эй! А ну пошла!

Оба закричали, заулюлюкали, потом смолкли, всматриваясь в заросли. Одноухий затаился в кустах. Дырочки ноздрей в носу совсем сжались, он почти не дышал.

Комбайнеры покричали, послушали и опять принялись за обед и беседу, вспоминая что-то общее и чему-то своему хохоча. Потом один прилег на копну, похлопывая себя ладонью по животу и позевывая, а второй закурил, скрутив из клочка газеты самокрутку.

Вдруг один встал на копне, напряженно всматриваясь в кусты.

— Ты что? — спросил его товарищ.

— Слушай, да там медведь, по-моему! — сказал тот настороженно, продолжая всматриваться в заросли.

— Может, тигр? — равнодушно спросил второй.

— Да нет. Голова вроде мелькнула медвежья...

— Может, крокодил? — спросил второй, зевнув.

— Да иди ты! — рассердился комбайнер и сел, а товарищ его довольно захохотал.

— Ну ладно, — сказал первый, посмотрев на часы, и плевком тщательно загасил окурок, — кончай перекур!

Они собрали остатки еды и кружки в холщовую сумку, свернули брезент, и качающиеся красные машины двинулись вперед, грохоча и оставляя за собой полосы короткой стерни.

Когда комбайны отошли достаточно далеко, Одноухий подошел к копешке, понюхал вокруг нее, нашел огрызок хлеба, съел и двинулся к лесу.

На другом конце поля комбайнер вдруг остановил машину, выскочил из кабины, догнал комбайн товари-

ща и на бегу что-то неслышно, в грохоте, закричал, махая рукой. Тот ничего не понял, потом посмотрел в сторону, куда показывал напарник, и увидел, как большой медведь неторопливо пересекает золотистый сжатый клин, повернув к ним голову, на которой торчал черный квадратик уха.

Комбайнер заглушил двигатель, выпрыгнул из кабины и вслед за товарищем засвистел и заулюлюкал. Медведь припустил по стерне, высоко вскидывая зад. И вдруг пропал. Казалось, он канул в закатном солнце, которое висело над лесом, окруженное нимбом, растворился в нем.

Комбайнер стоял и улыбался, про себя дивясь и чего-то жалея, козырьком приложив к бровям ладонь.

6.

Старый кореец семенил по тропинке меж вечерних теней, раздвигая палкой папоротники, поныривая головой в соломенной шляпе, будто кому-то кланяясь, останавливался, вглядывался в траву, мелко перебирал ногами и опять семенил, худой, как былинка, и короб на согбенной спине старика светился в сгущающихся сумерках мягким благостным светом. Пак выглядывал из-под него, по-черепашьи вытягивая тонкую жилистую шею, и опять семенил, поныривая тощей седой бороденкой.

Он неделями жил в лесу, в старой хибаре, сбитой из ящичных досок, кусков картона и жести, и выбирался в город только за рисом, чаем и табаком. Он знал толк в травах, и жизнь его была заполнена отыскиванием, сушкой и развешиванием пучков по стенам хибары. Он знал, что растения могут пробудить в человеке безумие и укротить самую страшную болезнь, он настолько сжился с ними, что начал наделять их человеческими качествами, и иногда ему казалось, что он может различать их по голосам в полуденном хоре, когда под горячим ветром трава начинает петь.

У старика в городе были большой дом, большой огород, сплошь занятый теплицами и парниками, большая семья, в которой больше всего ценился труд и умение извлечь из него наибольшую выгоду. С ранней весны в теплицах зрели огурцы, лук и редис. Каждое

утро, еще до солнца, старший сын старика грузил в багажник легковой машины и на сиденья тонкие ящички с упругими вымытыми овощами, словно покрытыми росой, и отвозил на базар, где ящички сгружались у прилавка, за который становилась старикова внучка или ее мать.

Сам Пак тоже любил базар, и было время, когда он сидел рядом с внучкой, разложив на прилавке пучки трав, расставив бутылки и банки с настоями. Потом санитарный врач запретил ему продавать травы, и старик приносил на базар свернутые в жгут лианы лимонника и затейливые корешки, которые касание умелого ножа превращало в загадочные фантастические существа.

У него редко что покупали, но смысл был в другом. Можно было сидеть, наблюдая, как гомонит и тасуется толпа у прилавков, где торгуют свежей рыбой, чилимами, редькой, красной от перца, мелко нарубленной, в которой видны кусочки красной рыбы, овощами, семечками, сухими грибами, вениками. Как размахивает руками над грудой грецких орехов и миндаля носатый грузин в кепке величиной с аэродром. Как достают из детских колясок породистых и беспородных щенков, переворачивая вверх брюхом, чтобы покупатель мог их почесать ради собственного удовольствия. Как строго, заложив руки за спину, прохаживается милиционер, пронзительным взглядом окидывая прилавки, и, сунув пальцы в рот, ходят за ним по пятам замурзанные деревенские пацаны, круглыми глазами разглядывая сморщенную пистолетную кабуру. Как, подобрав юбки, под общий хохот гонится за сбежавшим поросенком толстая старуха, размахивая хворостиной. Как в темных углах бьют по рукам подозрительные личности и тут же выпивают, скрепляя сделку, торопливо закусывая сморщенным соленым огурцом, купленным на ближайшем прилавке...

Он сидел, покуривая трубочку, с виду невозмутимый, весь высохший до глянцевитого свечения кости сквозь загорелую кожу, и думал, что вот это бесконечное человеческое мельтешение вовсе не гарантирует вечной жизни одному человеку. Что жизнь похожа на базар, только один приходит, а другой уходит и никто никого не замечает. Кто-то думает, что жизнь—это хор, где каждый тянет своим голосом, стараясь попасть

песне в лад, но он-то видел, что нет никакого хора, каждый кричит сам по себе и старается перекричать другого, продать подороже и купить подешевле. И все орут друг на друга, нисколько не обижаясь, и хохочут, словно точно зная, что ничего не изменишь, а потому надо веселиться, хлопать друг друга по плечам, заниматься скуки ради мелким надувательством, а если и петь хором, то уж под настроение, когда носы сияют, как светофоры, а из глаз вышибает хмельную слезу.

Иногда дети уводили его, и он не противился им, но потом вдруг опять оказывался на базаре. И, насытившись толкотней, мельтешением, шумом, утолив настоявшуюся в одиночестве человеческую тоску по людям, опять надевал короб и уходил в лес, в хибару, пропахшую тонким тлением ломких листочков шалфея и тысячелистника, который меняли вкус жизни, словно напоминая о бесконечном тлении и бесконечной жизни, которая в ей одной понятном поиске рыскала из тела в тело, из предмета в предмет.

...В полумраке Пак не сразу заметил Одноухого, идущего ему навстречу по тропе. Высокая трава и нависающие ветви кустарников помешали ему разглядеть его сразу. Но тут взошла луна, траву облило голубоватым мерцанием, и в десяти метрах от себя старый кореец увидел колышущуюся над тропой широкую темную спину, переливающуюся лоснящимся блеском. Могучие мышцы перекатывались под шкурой, луна гуляла волнами по спине Одноухого, и эта двигавшаяся над тропой спина, существовавшая словно бы отдельно от невидимых лап и опущенной головы, очень напугала Пака. Он, вздрогнув, остановился, пригляделся и увидел стоящего на тропе медведя. Медведь смотрел на него, и желтоватый свет то вспыхивал в маленьких медвежьих глазках, то пропадал. Одноухий шумно понюхал воздух, и Пак, окончательно поняв, что это медведь, сразу успокоился. Они стояли и смотрели друг на друга.

«Какой ты старый, — думал Пак, — ты даже не учуял меня. Но, может быть, я вообще не пахну? Сначала портится зрение, потом слух, потом и запах у человека пропадает. Но, может быть, хотя бы папиросы у меня в кармане пахнут? Значит, ты совсем старый, если даже табака не учуял. А что ты будешь делать те-

перь? Ты столько прятался, никто тебя не видел, даже я, такой ты осторожный...».

Одноухий глухо рычал, переступая.

«Рычи, рычи. Ты меня этим не испугаешь. Да и зачем тебе старик, который даже не пахнет? Мы столько лет ходили рядом, и ты не убьешь меня».

Одноухий все переступал, катая в горле клокотанье, казалось, что это голыши подпрыгивают и стукаются один о другой в кипящей воде. Посветлело, тени отделились от деревьев и легли поперек тропы. Пак увидел в желтых глазах медведя боль и тоску.

«Наверно, ты болен, ведь все старики болеют, и если бы ты мог говорить, я спросил бы у тебя, зачем ты так долго живешь. Какая может быть радость у старых зверей, когда притупляется зрение и лапы теряют быстроту, — ведь у них нет даже телевизора. Ты поступаешь глупо, приходя сюда. В тебя никто не верит, но тебя могут убить, если встретят, с перепугу, или просто ради забавы, или для того, чтобы поверить. Наверно, ты привык к этим местам, тебе не хочется менять их, да разве кому объяснишь? Мы оба старые, нам недолго осталось. Может быть, когда-нибудь мы встретимся, но уже не узнаем друг друга, потому что память исчезает в первую очередь и это обидно, но так, наверно, легче. Я не хотел бы, чтобы тебя убили, чтобы ты мучился, но что я могу поделать? И лучше бы тебе повернуть обратно. Я ухожу, я пропускаю тебя, это твоя тропа, хотя мы и ходим по ней по очереди».

Пак, не спуская с медведя глаз, задом упятился в кусты. Одноухий, повернув к нему голову, медленно прошел мимо и колыхнувшиеся кусты скрыли его.

«Тебя убьют, — сказал ему Пак про себя, глядя, как все дальше колышутся раздвигаемые медвежьей спиной кусты, — тебя убьют из ружья...».

...И опять бежала в реке луна, и Одноухий стоял в реке, задрав башку. Вода капала с его мокрой бороды, сдавленное рычание клокотало и глохло в горле. Боль, ярость и недоумение обручем стискивали его голову, ему хотелось реветь, бежать, выворачивать пни, забраться в коровий загон, переломать хребты, передушить, рвать в кровь. Ему было невыносимо плохо, Одноухому, и рыба не шла. Не шла! Что-то сдвинулось в этом помешанном мире, который он перестал понимать. Что-то сдвинулось, оттого-то так невыносимо

клюют и клюют в голове молоточки, оттого-то не идет рыба и исчезают леса. Оттого вода устает течь, мелеют реки, ветер бродит как попало и в июне идет снег. А небо с каждым днем все выше, до него не достать. И голод, и боль, и страх — все это ничто перед разрушенным порядком, где ему, Одноухому, нет места.

Он вышел из реки, пересек лес и вышел к мари. Она казалась черной и плоской, заключенной в огромную сферу ночного неба, и там, в этой сфере, нарастал гул. Гул все рос и рос, хотя ветра не было, и Одноухий почувствовал, что гул этот проникает в него, делая его тело легким и как бы пустым. Где-то на краю мари, прижатые к земле огромностью бесконечно длящейся вверх черноты, виднелись огоньки рыбзавода, и Одноухий пошел к ним.

Старый браконьер проснулся в своей палатке, словно от толчка, и испуганно сел, схватившись за ружье и замерев. Снаружи, за тонкими стенками палатки, было тихо. Молодой напарник чуть слышно всхрапывал и мычал во сне. Пожилой сидел, глядя в темноту расширенными глазами, и едва не трясся от беспричинного, непонятного страха. Ощущение было сложное, дикое какое-то. Ему вдруг показалось, что там, за брезентом... ничего нет! Река плеснула, и он, разозлившись на себя, отсунул схваченное было ружье и лег, завозился сердито, устраиваясь на жестком ложе. Сон не шел. Он прикрыл глаза, полежал. Все равно не спалось, сильно ныли руки. Сейчас, когда он лежал с закрытыми глазами, ему казалось, что они у него — как две здоровенные сковородки, они и сейчас все зудили, шевелились. Такие уж они у него были, неугомонные, с войны, когда он еще пацаном впрягся в воз многодетной семьи за старшего. Как начал тогда хватать все, что можно было, так уже не мог остановиться. Он подумал: «Они меня доконают». Мысль поразила, потом заинтересовала, он подумал: «Да уж, видать, я и там не смогу без работы. Как же я вот так просто буду лежать, если с детства лежать не приучен?» Он будто бы в шутку сложил руки на груди, и они легли тяжело и покойно, будто и впрямь успокоились уже, а он опять испугался непонятно чего. Молодой все ворочался, мычал, все ловил и никак не мог поймать там, во сне, убегающую от него девицу, а пожилой немо и сухо за-

плакал, бессильно, без злости и жалости, а руки лежали у него на груди и корчились, ныли, орали от боли и все двигались, шевелились, тискались, как два ослепших зверя.

Рыженькая остроносая Оля лежала в «Жигулях», натянув до подбородка одеяло, и через окошко смотрела на луну. Она слышала сонное дыхание Михаила, и ей плакать хотелось от обиды. Она заставила себя досчитать до ста, успокоилась, а потом тихонько повернулась к нему, хотела позвать его, но вдруг струсила. Ей было и странно, и сладко, оттого что она знала: он не спит из-за нее, а только притворяется, и оттого что она знала: сейчас позовет его, и что у нее огромная над ним власть, смысл которой она чувствовала, но плохо понимала. Она все трусила, откладывала, казалось, лежать так можно вечно, откладывая, отталкивая мгновение, когда надо сказать.

— Миша... — сказала она и сама испугалась своего голоса.

Он сразу обернулся к ней, вопросительно глядя, и она опять струсила и, не зная, что делать, стараясь только, чтобы он не смотрел, притиснула его голову к груди, быстро спрашивая: «Ты меня любишь, Мишка, правда? А, Миш?». Она знала: что бы он ни сказал — все это ровным счетом ничего не значило, но хотелось слова, оно было нужно, как себе самой разрешение, и она себя убеждала, что если он вдруг скажет: «Нет»,— значит, все само собой и кончится, и хотела, чтоб кончилось, и не представляла, как она тогда будет жить...

Одноухий стоял на берегу и слушал, как плещется в сети рыба. Сеть тянулась через всю реку, а на противоположном берегу в длинном бараке горел свет, ходили и говорили люди, стучал дизель электростанции на колесах. Там, в цеху, женщины в резиновых сапогах и фартуках пластали кету, выпускали икру в ванны, укладывали рыбу в бочки, пересыпая солью, и еще целые горы кеты лежали перед входом в барак, ее носили носилками к разделочным столам. Чуть поодаль горел костер, и у него грелись рыбаки.

Одноухий сошел в воду. Дно тут сразу у берега было глубоким, и он поплыл к сети, возле которой рыбины стояли плотно, одна к одной, чуть шевеля хвоста-

ми. Он схватил зубами некрупного самца, тут же упустил и схватил другого. Рыбины били его в бока, плескали хвостами под самым носом. Течением сеть сносило на него, и он чувствовал, как она колышется в воде. Густой запах рыбы стоял над рекой. Сеть мешала. Одноухий неуклюже ворочался в воде, окунался, ловя пастью плещущиеся хвосты, и почувствовал, что сеть держит задние лапы. Он дернулся, забил лапами, потом рванулся встречь течению, пытаясь перебраться через сеть, но она держала крепко. Он опять окунулся с головой, вынырнул, заревел и хватил ее лапой. И опять окунулся, хлебнув воды. Дикий страх охватил Одноухого. Он забился, в клочья пластая дель. На берегу замелькали огни фонарей, послышались встревоженные голоса. Сеть вздрогнула, и Одноухий увидел, что ее края в шарах поплавков расходятся в стороны, как створки ворот, и, последним усилием стряхнув с себя клубок рваной, сбившейся дели, огляделся, задрав над водой голову. Течение несло его, он слышал, как разом заплескали сотни хвостов и вся масса косяка, взрябив воду, помчалась против течения.

Грохнул выстрел — и он, наполовину высунувшись из воды, что есть силы заработал лапами, выскочил на берег и побежал к темной кромке кустарника. Грохнуло еще раз, мелькнуло над водой длинной красной вспышкой, просвистело и вдруг сильно ударило Одноухого в бок. Удар был так силен, что он запнулся на бегу, упал на затрещавший куст, но тут же вскочил и что есть силы припустил к кустам. Что-то страшное сидело у него в боку, рождая невыносимую боль, и он заревел, не в силах терпеть, с треском вломился в кусты и побежал, потом резко повернул, сделал петлю и, выйдя к своему следу, лег.

Он чувствовал во рту вкус собственной крови и глотал ее, давясь и захлебываясь, жмурясь от невыносимой боли и бросившейся в голову, помутившей рассудок ярости. Он лежал, напряженно вздрагивая, подбирая зад, готовясь к яростному прыжку, когда они, те, пойдут за ним, чтобы добить, лежал, превозмогая раздирающую внутренности боль, которая разрасталась и жгла. Лежал и ждал голосов, готовясь прыгнуть и убивать. Никто не шел за ним, никто не бежал. Он глотал и глотал свою кровь, слыша крики рыбаков на реке, пытающихся выбрать порванную сеть, сквозь ко-

торую валом валила кета, ждал.

Но ожидать и терпеть стало невыносимо, и он, про все забыв, заревел и опять побежал, натыкаясь на кусты, потому что лапы почему-то плохо слушались его. Маленький яростный зверь, забравшись к нему внутрь, терзал внутренности, рвал их острыми безжалостными зубами. Одноухий закружился, заревел, пытаясь схватить зубами рану, задавить впившегося зверька. Упал, вскочил, озираясь, и опять закружил, заревел...

Рыба плотными косяками мчалась по реке, и казалось, что река потекла вспять. Рыбины выпрыгивали из воды, будто пытаясь долететь до места назначения по воздуху. Кета шла валом, впритык, мимо суеты рыбзавода, где пылали костры и стояла бестолковая ругань, мимо кустов, где ревел Одноухий, мимо палаток, шла в едином и мощном порыве, шла к цели, ради которой длилась вся ее короткая жизнь с сотнями опасностей и препятствий, которые теперь не имели значения. Выбрав место, самка в лихорадочной спешке била хвостом по гальке, отшвыривая ее, ранясь и в клочья разбивая хвост. Самец помогал ей. Когда гнездо было готово, самка застывала над ним, дрожа, а самец метался рядом, описывая вокруг нее круги. Самка напрягалась и красной струйкой выпускала в гнездо икру, самец подлетал к ней, изгибаясь, выпускал белое облачко молок. Обе рыбины опять принимались бить хвостами, забрасывая гнездо галькой, а потом бесцельно метались взад и вперед в лихорадке непрошедшего возбуждения. Река наполнилась криками рыбьей страсти и вдруг запарила, и туман, вставший над водой, обозначил ее извилистое течение.

Одноухий умирал трудно. Все плыло и качалось, он брел, падал и опять поднимался. И опять падал, рычал, вставал, пошатываясь, и смысл этой борьбы был единственным смыслом, который он воспринимал. Надо встать. И он упрямо поднимал себя, уже не помня и не сознавая, для чего это. Вставал и шел.

Он вышел на небольшую полянку и там лег, но тут же опять встал. Его трудно, с кровью, вырвало, потом еще раз. Он лег в кровавую лужу, тяжело дыша, опершись на передние лапы и сел, покачиваясь и опустив башку к самой земле.

И тут озноб затряс Одноухого, вся шерсть на нем поднялась дыбом, он зарычал, вскинув голову и оцепенев, увидел над краем леса в сереющем предутреннем небе голубой призрак звезды. Она была одна во всем небе и смотрела на него жестоким драконовым глазом, истаивая, исчезая. И словно бы щурилась, целясь в него, Одноухого. И он вскочил ощетиненный, готовясь принять бой!..

...А рыба все шла и шла, вкатывалась в реку с грохочущей волной прибоя, перла, неслась. Навстречу косякам, вяло шевеля хвостами, сплывали по течению отметавшиеся рыбины, и мощное встречное движение отшвыривало их на берег, и по берегам реки вырастали валы мертвой кеты. Пошли в рост лопухи на неслыханном удобрении и, вмиг вымахав выше деревьев, шатром сомкнулись над кипящей от скоротечной рыбьей страсти рекой. Распустились цветы, пролился дождь и запели птицы.

Проснулся в своей хибаре старый кореец и долго кашлял, сидя на деревянных нарах, поджав под себя ноги.

Тихонько дышала в машине, ткнувшись в щеку Михаила, спящая Олечка.

Пожилой браконьер лежал в палатке, благостный, как покойник, слушая стоны и храп своего молодого напарника.

А рыба все шла, шла, шла, торопясь сделать свое дело до рассвета и первых морозов.

И никто не видел, как над кустами, где лежал, остывая, Одноухий, тихо поднялось маленькое белое облачко и поплыло вверх, все выше, выше — туда, где не летают птицы и не идут дожди и только вечный холодный ветер мчится, огибая теплый бок планеты, торопясь за светлой полосой бегущего дня...

Илюшин В. В.

И44 Тихоокеанское шоссе. Рассказы и повесть. — Амурское отд. Хабаровского кн. изд., 1987. — 176 с., ил.

Первая книга молодого амурского прозаика. Его талантливые рассказы и повесть «Путина» затрагивают важные современные проблемы отношения людей к труду, к природе, друг к другу.

И $\frac{4702010200\text{-}16}{\text{М160(03)-87}}$ 87

84.3.Р2

Илюшин Владимир Владимирович

ТИХООКЕАНСКОЕ ШОССЕ

Рассказы и повесть

ИБ № 1526

Редактор О. К. Мамонтова.

Художественный редактор П. К. Пустовой.

Сдано в набор 30.12.86. Подписано в печать 28.01.87. ВЕ01605. Формат 84×108/32. Бумага тип. № 2. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 9,24, усл. кр.-отт. 9,56, уч.-изд. л. 9,48. Тираж 15 000. Заказ 27. Цена 60 коп.

Амурское отделение Хабаровского книжного издательства Госкомиздата РСФСР, Благовещенск, ул. Ленина. 181.

Благовещенская типография Амурупрполиграфиздата, Благовещенск, ул. Калинина, 10.

60 к